

Евгений
Водолазкин
Дом и остров,
или Инструмент
ЯЗЫКА

От автора романа «ЛАВР»,
победителя премии
БОЛЬШАЯ
КНИГА



Евгений Водолазкин

**Дом и остров, или
Инструмент языка (сборник)**

«АСТ»

2014

Водолазкин Е. Г.

Дом и остров, или Инструмент языка (сборник) /
Е. Г. Водолазкин — «АСТ», 2014

ISBN 978-5-17-083767-0

Евгений Водолазкин (р. 1964) – филолог, автор работ по древнерусской литературе и... прозаик, автор романов «Лавр» (премии «Большая книга» и «Ясная Поляна», шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер») и «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист премии «Большая книга» и Премии Андрея Белого). Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и – пожалуйста – уже лежит. И все-таки «быть ихтиологом и рыбой одновременно» – не только допустимо, но и полезно, что и доказывает книга «Дом и остров, или Инструмент языка». Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды – что-то от пушкинских «table-talk» и записей Юрия Олеши – напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.

ISBN 978-5-17-083767-0

© Водолазкин Е. Г., 2014

© АСТ, 2014

Содержание

От автора	5
Мелочи академической жизни	6
Обслуживая графа	6
Vivat academia	7
Слово Андроникова	8
Тревожный звонок	9
Два Александра	10
Сумерки демократии	11
Omnia mea mecum porto	12
1810 рублей	13
Противопожарное	15
Подчеркнуто вежлив	16
О марксизме в египтологии	17
Хорошее отношение к котам	18
Рыбы в парадном	19
Отец и сын	21
Петербургские зонтики	22
Малой кровью	23
Вопросы литературы	24
Анатомия истории	25
Vox populi	26
Газовый вопрос	27
Местоблюститель	28
Русские звуки	29
Искусство и действительность	30
Без права на улыбку	31
Правда о Шлимане	33
Римские каникулы	35
Двойные стандарты	36
Пристрастие к Броделю	38
Дикие люди	40
Ошибка рецензента	41
Ученые – строителям	43
Подземный мир	44
Вредные привычки	45
Мало приятного	47
Сеанс с разоблачением	49
Легкое дыхание	50
Литературоведы в блокаду	51
Дом и остров	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Евгений Германович Водолазкин

Дом и остров, или Инструмент языка

От автора

Публикуемые в этой книге тексты возникли в разное время и в разных условиях. Не ощущая до поры своего родства, они беспечно существовали порознь. Некоторые издавались («Новая газета», «Независимая газета», журналы «Звезда», «Огонек» и др.), некоторые – нет. Какие-то из них вообще не были записаны и вели вольный устный экзистенс. Соединив их под одной обложкой, я почувствовал, что небольшое это собрание не лишено внутренней драматургии. Думаю, что от скопления людей и слов иного результата ждать не приходилось. Люди и слова сосуществуют, вступают в непростые отношения, а порой («от всего человека вам остается часть речи») незаметно переходят друг в друга. При таком положении вещей довольно сложно установить, человек породил слово или – что вовсе не редкость – сам порожден им.

Люди этой книги предстают по преимуществу в облике ученых. Ошибается тот, кто считает, что об этом облике (поблескивание очков, скрипучее «бэтенка») всё известно. Жизнь ученого полна опасностей и тревог, в ней есть свои землетрясения и цунами. Ее описанию посвящены короткие рассказы и эссе. Претендуя на достоверность, обозначаю эти тексты загадочным словом «нон-фикшн». Как и положено, они основаны на письменных и устных источниках, не говоря уже о собственных наблюдениях повествователя. Некоторые из них, впрочем, успели покрыться тем налетом фольклорности, который отчасти снимает проблему соотношения реальности и вымысла.

Становясь в значительной степени феноменом словесности, герои публикуемых текстов неизбежно подводят к разговору о *с л о в а х*. Слова в этой книге разные: слова-аббревиатуры, слова-заимствования и слова-мифы. Слова-комментарии. Слова-рекомендации (начиная с определенного возраста хочется поучать) относительно того, как со словами обращаться. Тем, кто развивает язык самостоятельно, к рекомендациям прислушиваться не обязательно.

Мелочи академической жизни

Обслуживая графа

В дни варшавского Съезда славистов несколько его участников зашли пообедать в ресторан «Под крокодиллом». С официантом общался Александр Михайлович Панченко, знавший польский язык. Десерт заказали все, кроме Дмитрия Сергеевича Лихачева. Официант переспросил, кто именно не будет заказывать десерта. Александр Михайлович ответил, что заказывать десерта не будет граф. Без особенных уточнений ответил, что называется, не указывая пальцем. Именно такой ответ Александру Михайловичу (а он редко ошибался) показался в тот день уместным. Официант принес десерты всем – кроме Дмитрия Сергеевича. В ресторане «Под крокодиллом» графов определяли безошибочно.

Vivat academia

В прежние времена сотрудники Института русской литературы (Пушкинского Дома) имели обыкновение выезжать в совхоз «Федоровское». В сентябре они собирали там турнепс. Турнепс, выражаясь шершавым языком «Википедии», – кормовая репа, растение из семейства капустных. Иногда собирали картофель, насильно введенный Екатериной. Реже – петрушку. Литературоведы стояли на грядках и связывали петрушку в пучки. От синтетических веревок на их пальцах быстро появлялись ссадины. Исследователи утешались тем, что в изучаемых ими текстах труженикам полей никогда не было легко. Впрочем, легко там не было никому.

На полях совхоза «Федоровское» сотрудникам Пушкинского Дома по большому счету недоставало одного: народа. Который они знали по русской литературе, но хотели увидеть и вне ее. Непонятно, где находилось местное население – может быть, стеснялось. Возможно, его просто не было.

Однажды на краю поля со стороны совхоза появились две крошечные фигуры. Приблизившись, они превратились в двух красивых девушек. Таких, какими и должны были быть девушки из совхоза «Федоровское». Полногрудых, голубоглазых. С косами. Они подошли к мужчинам Пушкинского Дома и сказали:

- Мы ищем своих. Это Академия художеств?
- Нет, – ответили мужчины. – Это Академия наук.

Слово Андроникова

В прежние времена в Пушкинском Доме любили поздравлять женщин. Происходило это в один из мартовских дней, совпадая по времени с каким-то советским праздником. Однажды поздравление совпало с пребыванием в Пушкинском Доме Ираклия Луарсабовича Андроникова, приехавшего поработать в Рукописном отделе.

В качестве поздравления в тот год готовился альбом с высказываниями мужчин Пушкинского Дома о женщинах. Подавленные многочисленными текстами русских классиков, исследователи их творчества высказывались о женщинах с трудом. Порой – излишне мрачно, отклоняясь от благожелательного в целом отношения к женщинам со стороны отечественной словесности. Которая, как известно, создавалась преимущественно мужчинами.

На выручку пришла Нина Александровна Колобова, сотрудница Библиотеки Пушкинского Дома и ее добрая фея. За высказыванием для альбома она обратилась к Ираклию Луарсабовичу Андроникову. Ираклий Луарсабович, конечно, не был мужчиной Пушкинского Дома. И стиль его работы не всегда соответствовал представлениям о традиционном лите ратуроведении. Не говоря уже о совершенно неакадемическом темпераменте, привлекавшем к нему значительно больше женщин, чем это происходит, скажем, со среднестатистическим литературоведом. Но в этом-то и заключалась его сила, по крайней мере в отношении высказываний о женщинах.

Неожиданно для Нины Александровны писать в альбом Ираклий Луарсабович отказался.

– Что вы, какие женщины в моем возрасте! – сказал он.

– Но у вас ведь такой опыт! – настаивала Нина Александровна.

– Вот только опыт и остался, – вздохнул Андроников.

Жаль, конечно, что своим опытом Ираклий Луарсабович так и не поделился. Молодым поколениям пушкинодомцев пришлось открывать всё самостоятельно. Идя вслепую. Что называется, на ощупь.

Тревожный звонок

В дирекцию Пушкинского Дома позвонили из обкома партии. Коммунистической. Тогда, впрочем, не требовалось объяснять, какой именно: обкомов других партий в Ленинграде не было. «Опять у вас изнасиловали натурщицу?» – строго спросил звонивший. Не задумываясь, в дирекции отрицали не только этот, но и все предыдущие факты противоправной деятельности. Отрицали даже само наличие натурщиц. «Это Пушкинский Дом Академии художеств?» – уточнили в трубке. «Нет, – ответили из дирекции. – Это Пушкинский Дом Академии наук».

Звонок этот широкого обсуждения не имел. Но те, кто о нем знал, сделали по крайней мере два вывода. Первый из них был общего порядка и состоял в том, что коммунистическая партия большого различия между академиями не делала. Или считала, возможно, что в каждой академии есть свой Пушкинский Дом. Второй вывод относился непосредственно к Академии художеств. Из случайного звонка выяснялось, что рядом, у соседей по Васильевскому острову, протекала иная, беспокойная жизнь, полная искусства, натурщиц и безумств. Объектом же занятий в Пушкинском Доме всегда были русские писатели. По преимуществу покойные. Ни о каких художествах здесь не могло быть и речи.

Два Александра

Два аспиранта Пушкинского Дома как-то раз зашли в столовую на Васильевском острове. Оба они носили звучное имя Александр. В портфеле одного из Александров лежала бутылка водки, которую тезки предполагали распить. Поскольку чистых стаканов в общепитовских столовых не выдавали, обоим Александрам пришлось купить по мутно-розовому киселю. Сев за столик, они одновременно закрыли глаза и, стараясь не думать о розовых соплях, залпом выпили содержимое. В тот момент им казалось, что уже один этот поступок искупает то слегка противоправное деяние, которое они собирались совершить.

Когда один из Александров полез за бутылкой в портфель, второй заметил, что к их столику приближается старушка уборщица. Не подозревая, что находится между двумя Александром, старушка не стала загадывать желания. Она попросту взяла стаканы и понесла их в мойку. Доставший бутылку Александр был вне себя. Он с силой воткнул бутылку обратно в портфель и вытер вспотевшие руки о колени. Второму Александру тихо отпрыгнулось киселем.

Посидев так какое-то время, Александры подошли к раздаче и снова купили по киселю. Вернулись за свой столик и выпили содержимое стаканов еще раз. В этот раз литературоведы закрывали не только глаза, но и носы. Первый из Александров снова полез за бутылкой в портфель. Не привлекая лишнего внимания, он начал открывать бутылку под столом. Когда второй Александр увидел старушку, было уже поздно. Поставив стаканы один в другой, она невозмутимо понесла их в мойку.

И тут случилось непредвиденное. Открывавший бутылку Александр бросил свою невидимую миру работу и в один прыжок оказался рядом со старушкой. Гордость и надежда Бориса Михайловича Эйхенбаума, Александр, вопреки традициям русской классики, начал старушку уборщицу душить. Ни посетителям столовой, ни приехавшей по вызову милиции не удалось выяснить, за что именно душили старушку. Александр так и остался непонятым.

Главным в этой истории мне кажется то, что старушке удалось вырваться, хотя шансов у нее было, прямо скажем, немного. Возможно, ее спасло то, что она находилась между двумя Александром, и ее желание – в ту минуту единственное – исполнилось.

Сумерки демократии

Как я уже говорил, осенью сотрудники Пушкинского Дома ездили в совхоз «Федоровское» на сбор турнепса. Отношения с этой культурой складывались непросто, и, несмотря на рекордные (совершенно необъяснимые) достижения отдельных сборщиков-литературоведов, средние показатели сбора были весьма умеренными. Эти цифры отчасти скрашивались другими показателями присланного контингента. В подчинении нашего бригадира Любы находились, среди прочего, с десятков докторов наук и десятка полтора кандидатов, что Любе очевидным образом импонировало. Несмотря на свое немногословие (в разговоры с подчиненными Люба вступать избегала), в жизни она умела ценить парадокс.

Большие и малые несоответствия нравились и нам. Название местности не согласовывалось в роде со словом «совхоз», «турнепс» звучал почти буржуазно и с совхозом опять-таки не связывался, но главное (это было действительно главным!) – поля совхоза «Федоровское» лежали у самого Павловского парка. Соседство стихий столь несхожих кружило голову, как кружил ее сырой и резкий воздух парка: многие из нас, отказавшись от совхозной развозки, шли к станции через парк.

Для головокружения имелся еще один повод. Он не был связан ни с совхозом «Федоровское», ни даже с Павловском. В те дни проходил перестроечный Съезд народных депутатов. На борозде стоял маленький радиоприемник, передававший прямую трансляцию из Москвы. Работали только те, кто находился рядом с приемником, остальные мало-помалу смещались в зону его слышимости. Сбежавшие с постов предусмотрительно держали в руках свежесорванные корнеплоды. И хотя Любу это не могло сбить с толку, верная избранной тактике, она ничего не говорила. Молчаливое Любино осуждение было красноречивее всяких слов.

Задержавшись в парке, мы вышли к станции довольно поздно. Людей на платформе было мало. В ожидании электрички некоторые отправились гулять по привокзальной площади, а я с несколькими коллегами остался сидеть на скамейке. У самого края платформы стоял человек, по виду – крестьянин, в огромного размера сапогах. Рядом с ним лежал мешок. Который – и почему-то это никого не удивляло – время от времени шевелился. Лицо крестьянина, как и положено тому, кто держит кого-то в мешке, было суровым и обветренным. Я даже не успел подумать о том, кто именно мог двигаться там, внутри, как на нашу скамейку села Люба. Она тоже куда-то ехала. Люба безразлично смотрела вперед и нас вроде бы не замечала. Время от времени опускала голову и выдувала воздух в свою телогрейку.

Мешок, конечно же, развязался, и оттуда выскочил поросенок. Размером с небольшую собаку. Неправдоподобно розовый. Он бегал по платформе из стороны в сторону и отчаянно хрюкал. В его хрюканье сквозило нескрываемое удовольствие: так хрюкают только от удовольствия. Суровый крестьянин, не теряя достоинства, двинулся за поросенком. Он не стал за ним гоняться, а выставил на его пути свой огромный сапог, и поросенок замер. Наверное, именно так и следует ловить поросят. Взяв поросенка в охапку, крестьянин бросил его в мешок. Безмолвная прежде Люба повернулась к нам и отчетливо сказала: «Вот и вся демократия».

Отношение к демократии и к тем, кто себя с ней отождествлял, в Пушкинском Доме со временем менялось. В глазах одних – ввиду сопровождавших ее в России явлений – идея ощутимо померкла. Для других она перешла в сферу сакрального, окончательно утратив реальное измерение. Третьи вообще покинули эту систему координат и устремились в область внутренней свободы как в безотказное и самое, пожалуй, надежное убежище. Всем без исключения за истекшие годы пришлось услышать множество разных высказываний о демократии. Возможно, более глубоких и развернутых, чем Любино. Но не более ярких.

Omnia mea mecum porto

Пушкинодомец Л. очень любил кино. Не являясь киноведом («кинологом», как шутят представители этой корпорации), он знал о кино всё. Л. не пропускал ни одной премьеры – из тех, разумеется, что ему были доступны. Только вот премьеры были ему доступны не все – из-за того, что к упомянутой корпорации он, увы, не принадлежал. Ведь принадлежность к корпорации подразумевает некоторые преимущества, а преимущества одних – так уж устроена жизнь – чаще всего являются результатом ограничения других. Иначе какие же это преимущества?

Такое положение вещей не позволяло Л. посетить очередную премьеру. Это был *закрытый просмотр* для членов Дома кино, каковым Л., понятное дело, не являлся. Не преувеличивая значения членства, он отправился в Дом кино. Стоя в очереди у входа, он невозмутимо наблюдал, как пришедшие на премьеру предъявляли на контроле свои членские билеты. Он был единственным, кому предъявить было нечего. И он ничего не предъявил. Он прошел мимо контроля, вежливо поздоровавшись.

– Член Дома? – спросили его вдогонку.

– Нет, с собой, – ответил Л. и прошел в зал.

Возвращать его не стали. Вероятно, в Доме кино в таких случаях верят на слово.

1810 рублей

На Большом проспекте Петроградской стороны я увидел катящуюся десятку. Я сразу даже не понял, что это десятка, потому что никогда в своей жизни не видел катящихся купюр. Десятка была скомканной, съезжившейся и напоминала замерзшего воробья. В мартовской поземке она даже как-то по-птичьи подпрыгивала. Это была самая несчастная из когда-либо виденных мной десятков. Когда она ко мне подкатилась, я ее подобрал.

Я прошел еще несколько метров и увидел три сотенных бумажки. Они подкрадывались ко мне гуськом – сотня за сотней. Я мог бы ущипнуть себя, но жест показался мне слишком литературным. Я и так знал, что не сплю. Что интересно: иногда мне действительно снилось, что я нашел деньги – особенно в периоды безденежья. Но там они выглядели совершенно по-другому. Это были тугие, опечатанные лентой пачки евро. Пахнущие типографской краской. Хрустящие нездешним хрустом. Они задумчиво лежали на земле, и катиться им просто не приходило в голову. Даже во сне я удивлялся размаху своих трат. По правде говоря, я не ожидал от себя таких безумств. Немного подумав, я решил, что было бы правильным подобрать все три катившиеся сотни. Хотя – уж какие тут безумства...

Несмотря на реальность происходящего, ситуация явно выходила за рамки повседневного опыта. Я попытался взять себя в руки и сосредоточиться. Я, думалось мне, являюсь типичным представителем научной среды. Которая, по официальным данным, имеет среднюю зарплату в 30 000 рублей. Кто именно получает эту среднюю зарплату, я до сих пор не знаю: жалование известных мне докторов наук значительно меньше. Аспирант же на все свои нужды получает 1500 рублей. (На одну из сотенных бумажек наступили, но она тут же расправилась и покатила дальше.)

«А если это деньги аспиранта?» – спрашивал я себя, поднимая сотню за сотней. «Значит, – ответ приходил сам собой, – теперь у него осталось 1190 рублей». Я расстроился. И тут же нашел тысячу рублей. Она выкатилась на меня из-под водосточной трубы. Такая же скомканная и неказистая, но – тысяча. Что называется, покатило... Дальше натренировавшимся моим глазом были замечены две пятисотки. Одну из них я подобрал, а возле второй неожиданно возникла чья-то рука.

– Это ваши деньги? – спросил я незнакомца и протянул ему смятые бумажки.

Взяв мою ладонь обеими руками, он сложил ее в кулак.

– Не разбрасывайтесь деньгами, – сказал он строго. – В настоящий момент мне хватит и пятисот. А остальные все-таки вы нашли.

Я удивился его честности и спросил, что он думает о происхождении этих денег.

– Могли с балкона упасть, – сказал человек, не задумываясь, и распрощался.

Я поднял глаза вверх. Там никого не было. Балконы северного города были задрены наглухо.

В этой находке был несомненный привкус горечи. Да, потерянные деньги не принадлежали аспиранту. В сумме они превышали то, что мог иметь при себе российский аспирант. Но эти деньги могли принадлежать и младшему научному сотруднику, чье положение немногим лучше. И я решил подождать, не вернется ли кто-нибудь за деньгами.

Я плохо себе представлял, как именно должен был выглядеть такой человек. Может быть, грустным. Может быть, рассерженным или, чего доброго, отчаявшимся. Я просто ждал. Прошло минут пятнадцать, но того, кого я мог бы определить как вернувшегося за деньгами, не было. Я уже собрался уходить, как вдруг заметил человека в пальто с поднятым воротником. Пальто было потертым, человек – сутулым. Он шел, покачиваясь от колючего ветра, и казался трагическим символом российской науки. Сутулость человека усугублялась тем, что он неотрывно и сосредоточенно смотрел себе под ноги. У меня екнуло сердце.

Я (благотворительность имеет свою эстетику) положил ему руку на плечо:

– Вы ничего не ищете?

Он поднял голову, и я увидел его глаза. В них не было ни грусти, ни гнева, ни отчаяния. В них не было ничего, кроме безмятежности.

– Нет, – он указал на рюмочную, – я всё нашел.

Жест его был скуп, а голос тих.

Придя в Пушкинский Дом, я рассказал о катящихся деньгах. Вопреки моему ожиданию никто из моих коллег не удивился. Им казалось, что при массовом и не всегда понятном перемещении денег по стране часть из них обязательно должна оказаться на тротуаре. А одна моя знакомая аспирантка даже сообщила, что ищет там деньги целенаправленно. Осуществляя экономию, она ходит пешком и заодно осматривает места вероятного залегания купюр. Предпочтительными, по ее мнению, являются сугробы на обочинах: выходя из такси, пассажиры роняют деньги именно туда. Таким образом девушка уже нашла однажды двести долларов.

Описав факты внебюджетного финансирования науки, я хотел бы сообщить нашему государству и об отдельных проблемах. Одна из них состоит в том, что отпускаемые научному сообществу деньги – по свойству, очевидно, легких материалов – сосредотачиваются преимущественно в верхних его слоях. Что, вообще говоря, не вполне соответствует распределению в этом сообществе научных идей. Другая проблема связана с тем, что подбор денег на улице рядовым научным составом происходит всё еще крайне нерегулярно. А потому рассчитывать только на этот источник финансирования пока не приходится. Наконец, аспирантский доход в 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей представляется достаточным не всем. Отдельные, перефразируя Сашу Соколова, прожигатели стипендий даже утверждают, что внушительной этой суммы хватает не на все их нужды. Впрочем, такие голоса раздаются всё реже: их обладатели попросту уходят из науки.

Противопожарное

В 1987 году произошел пожар в Библиотеке Академии наук. Вокруг этого события – для русской науки, безусловно, трагического – было много разговоров. Велись они преимущественно в институтских курилках, поскольку публичные обсуждения происшествия не приветствовались (нежелательность обсуждения в полной мере ощутил на себе и Дмитрий Сергеевич Лихачев, активно в это дело вмешавшийся). Стоит ли говорить, что исправление положения власти начали именно с курилок.

Вслед за ужесточением пропускного режима запретили курить и в Пушкинском Доме. Об этом было объявлено на общем собрании института. Услышав объявление, к трибуне вышел знаменитый пушкинист Вадим Эразмович Вацуро. «Ну, конечно, – сказал Вадим Эразмович, – конечно, все мы понимаем, отчего возник пожар в Библиотеке Академии наук. “Северная пчела” закурила с “Русским инвалидом”. По этой причине нас хотят лишить возможности курить». Подчиняться запрету Вадим Эразмович отказался. Его поддержали все, включая некурящих. Потому что курилка как институт, связанный со свободой слова, был дорог даже некурящим.

Подчеркнуто вежлив

Замечательный ученый М. был человеком, умевшим не только работать, но и отдыхать. Однажды, в минуту застолья, он почувствовал непреодолимую потребность позвонить академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И позвонил, конечно же. И поговорил – темпераментно и бескомпромиссно, как всегда в таких случаях. Проснувшись наутро, М. вспомнил о звонке, и душа его заняла в предчувствии недоброго. Он не помнил, о чем, а главное – как разговаривал с Дмитрием Сергеевичем. Помнил только, что – разговаривал. Зная, что после употребления крепких напитков бывает нелицеприятен, М. совсем расстроился. В конце концов он решил, что хуже всего – неопределенность, и отважился на повторный звонок академику.

– Я вам, Дмитрий Сергеевич, вчера... звонил, – сказал, прочищая горло, М.

– Да, – подтвердил Лихачев, – звонили.

– Так вот, я хотел бы попросить у вас прощения...

– Помилуйте, да за что же?

М. подумал.

– Я боюсь, что мог быть груб.

– Напротив, – сказал Лихачев, – вы были подчеркнуто вежливы. И даже обращались ко мне: «Ваше превосходительство».

Отношения между учеными обычно лишены церемонности. Общаются ученые, что называется, без чинов. Бывают, однако же, случаи, когда ненавязчиво упомянутый титул способен украсить диалог с неочевидным, если разобраться, исходом. Именно это, скорее всего, и имел в виду М., прибегая к указанному обращению. Присущий ему диалектический подход стал достоянием не только фольклора, но и литературы. Считается, что исследователь послужил прототипом Левы Одоевцева в романе Андрея Георгиевича Битова «Пушкинский Дом».

О марксизме в египтологии

Академик Василий Васильевич Струве был выдающимся ученым. Его труды по востоковедению, включая первую работу о сфинксах у петербургской Академии художеств, давно стали классическими. Своих современников Василий Васильевич поражал энциклопедичностью знаний и широтой взглядов.

Крупнейший специалист в области Древнего Египта, он восторженно принял приход к власти большевиков. Возможно, методы их правления чем-то напоминали Василию Васильевичу предмет его собственных занятий. Мумификация Владимира Ильича Ульянова (Ленина) должна была не только поднять настроение исследователя, но и окончательно убедить его в сходстве цивилизаций. Как востоковеда его не могло не радовать, что с постройкой мавзолея Москва, подобно Северной столице, получала изящный египетский акцент.

Стоит ли удивляться, что логика развития взглядов Василия Васильевича привела его к марксизму. В духе марксистского учения он даже разработал теорию о пяти сменяющих друг друга общественно-экономических формациях. В советских научных и партийных кругах она пользовалась большим успехом и для краткости именовалась «пятичленкой».

По воспоминаниям коллег Василия Васильевича, оригинальность его умонастроения проявлялась и в преклонном возрасте. Ступая одной ногой по тротуару, а другой по мостовой, он с огорчением отмечал, что начинает хромать. Выйдя из дому, мог по рассеянности забыть, куда именно он шел. В таких случаях Василий Васильевич звонил домой и измененным, как ему казалось, голосом просил позвать самого себя к телефону. Когда домашние отвечали, что академик ушел, он спрашивал, куда именно. Разумеется, от звонившего этого не скрывали. Заодно ему сообщали цель визита и в общих чертах описывали маршрут.

Хорошее отношение к котам

Мне неоднократно приходилось писать о заметной роли котов в науке. О том уважительном отношении, которое, в частности, проявлялось к ним со стороны петербургского исследовательского сообщества. Продолжая эту портретную галерею, я хотел бы упомянуть о коте выдающегося русского историка Василия Григорьевича Дружинина.

В доме Дружинина любили играть в винт. Помимо кота и Василия Григорьевича, в один из вечеров присутствовали профессор Николай Дмитриевич Чечулин и Николай Иванович Веселовский. Будучи страстным игроком в винт, Николай Иванович крикнул Николаю Дмитриевичу:

- Кот Василия Григорьевича лучше вас играет!
 - Что это вы, Николай Иванович, меня ругаете? – обиделся Николай Дмитриевич.
 - Я вас не ругаю: я кота хвалю, – пояснил Николай Иванович.
- Слышать это коту было, разумеется, приятно.

Рыбы в парадном

Рассказав о котах, расскажу уж и о рыбах. Отправляясь однажды по делам, я увидел в своем парадном аквариум. Небольшой такой аквариум, не очень ухоженный. Удивительным, конечно же, было не то, что неухоженный, а то, что в парадном. Он стоял на подоконнике, и лучи солнца с трудом пробивались сквозь его мутную воду. Рядом лежали микрокомпрессор и «Растительные добавки к основному рациону» в картонной упаковке. В аквариуме плавали две большие плоские рыбы.

Время от времени у нас выставляют на подоконник предметы, от которых хотят избавиться. В разное время это были детские игрушки, книги Дарьи Донцовой, алоэ и какое-то подсохшее растение, названия которого я не знаю до сих пор. Ничто из выставленного меня не привлекало, но неизвестное растение я все-таки взял. Мне тогда казалось, что оно нуждается в срочном поливе (с тех пор я поливаю его уже несколько лет, но вид его почему-то не меняется).

Я смотрел на аквариум и понимал, что взять его не могу. Во-первых, это ведь не растение, а аквариум: есть разница. Во-вторых, у меня уже имеется аквариум. В-третьих... Эти бурые рыбы были какими-то странными. Их форму я бы определил как доисторическую, хотя и затруднился бы объяснить, что конкретно имею в виду. Но главное – было в них что-то неприятное. Что-то невыносимо придонное, из глубины поднышавшее. От веселых обитателей моего аквариума этих рыб отличал *тяжелый взгляд*. Даже если бы эти рыбы не съели моих рыб (надежду на это давал их вегетарианский корм), их мрачное соседство порядком испортило бы моим рыбам настроение.

Я люблю рыб. В отличие от сотрудников академических учреждений, они немногословны, и общение с ними успокоительно. Занимаясь своими делами, я то и дело отвлекался и думал о брошенном аквариуме. Кто мог выставить его на подоконник? Ближайшей была дверь коммуналки, которую делили оператор станков с числовым программным управлением и алкоголик. Ни тот ни другой не искали в жизни успокоения, и радость созерцания аквариума была им, казалось, чужда.

Мне думалось и о том, что судить о рыбах по их мрачноватому облику несправедливо. Мало ли кто как выглядит: из этого еще ровным счетом ничего не следует. Сколько есть примеров тому, что внешность – обманчива. Неподвижность рыб в мутном аквариуме приобретала в моих глазах черты стойкости. Неколебимости – вопреки ударам судьбы. В этой неподвижности мне виделось сиротство. Чей-то от них отказ. Ведь смотрел же кто-то на них по вечерам, при уютном свете лампы. Может быть, даже с ними разговаривал. Что-то щемящее было даже в прилагавшихся микрокомпрессоре и растительных добавках. Так, сдавая родных в дом престарелых, с ними привозят их старую чашку и любимые леденцы.

В тот день я встретил коллегу по Пушкинскому Дому Олега Витальевича Панченко. Зная Олега Витальевича как человека милосердного, я рассказал ему о встреченных в парадном рыбах. Подумав немного, он согласился им помочь. Мы решили, что вдвоем перенесем аквариум к Олегу Витальевичу, и отправились ко мне. Пока мы шли, я размышлял о том, как именно носят полные аквариумы. И носят ли их вообще. Когда мы вошли в мое парадное, выяснилось, что беспокоился я зря. Аквариум исчез. И если бы не капли воды на подоконнике, я бы, пожалуй, и сам засомневался, что он здесь когда-то стоял. Перед Олегом Витальевичем я, разумеется, извинился.

Через некоторое время в мою дверь позвонили. Это был оператор станков с числовым программным управлением. Он спросил, нет ли у меня электродрели. Доставая дрель, я удивился, что ее нет у оператора. В его глазах я читал, что оператор тоже удивлен. По его представлению, у такого, как я, не могло быть дрели. В сущности, он был прав, эта дрель досталась мне случайно.

- Моего соседа не стало, и я делаю ремонт, – пояснил оператор.
- Это не ваш аквариум стоял на подоконнике? – спросил я без видимой связи.
- Мой. Его забрала соседка по площадке.
- Он успел спуститься на один пролет, когда я его все-таки окликнул:
- А что это были за рыбы?
- Пираньи, – сказал оператор и захлопнул за собой дверь.

Возможно, он боялся вопроса о том, что случилось с его соседом-алкоголиком. Которого, между прочим, попросту не стало.

Встречаясь на лестнице с его соседкой по площадке, я всякий раз испытываю облегчение. Мне приятно, что она продолжает здесь ходить. Вспоминая о растительных добавках, об основном рационе я стараюсь не думать.

Отец и сын

Профессор Б., сын покойного академика Б., очень любил своего отца. Когда о Б.-старшем писали плохо, Б.-младший принимал это близко к сердцу. Нервничал, перевозбуждался – как и положено сыну. Однажды об академике Б. написали как-то совсем уж плохо. Автор статьи (дама) высмеивала излишнее увлечение академика литературой соцреализма. Профессор Б. был расстроен в высшей степени. Находясь на публике, он позволил себе ряд горьких замечаний, пообещав, среди прочего, «выпустить автору кишки через нос». Разгорелся нешуточный скандал. Общественность возмутили как анатомические подробности проекта, так и сама по себе возможность угрожать женщине. Высказывание профессора Б. было признано неакадемическим, и его понизили в должности. Вмешательство научного сообщества оказалось своевременным. Своего намерения профессор так и не осуществил.

Петербургские зонтики

Сергей Сергеевич Аверинцев выступал с лекцией в Петербурге. Тогда (временно) – Ленинграде. И хотя лекцию он читал в помещении Пединститута им. Герцена, большинство его слушателей к этому учреждению не имели никакого отношения. Случались такие вещи в пединститутах. Когда лекция окончилась, вслед за Сергеем Сергеевичем слушатели вышли из аудитории. Они спустились за ним по лестнице и оделись в гардеробе. Вместе с Сергеем Сергеевичем слушатели дошли до Казанского собора.

– Когда-то этот собор казался мне неуместным в России, – сказал Сергей Сергеевич. – В высшей степени странным. А теперь я нахожу, что есть в нем свой смысл и своя трогательность.

Никто не возражал. Все молча смотрели, как между колоннами собора металась газета. Стояли ранние осенние сумерки. Внезапно пошел дождь, и все открыли зонтики. Все, кроме Сергея Сергеевича. Выяснилось, что в этот день он свой зонтик потерял.

– Удивительная вещь зонтик, – задумчиво сказал Сергей Сергеевич. – Все только и делают, что его теряют.

Слушатели согласились и стали предлагать ему свои зонтики.

Прошли годы, и многое изменилось. Сергей Сергеевич Аверинцев умер. Пединститут переименовали в университет, что, хочется верить, улучшило там образовательный процесс. На лекциях известных ученых сейчас сидят преимущественно студенты. Наступило время, когда каждый занят своим делом и не отвлекается на посторонние предметы. И профессоров после лекций больше не провожают. Выражаясь современным языком, у общества другие приоритеты. Но зонтики, как и раньше, теряют все. Парадокс состоит в том, что их по-прежнему никто не находит.

Малой кровью

Нигде не работается так хорошо, как в Отделе рукописей Публичной (ныне почему-то Российской национальной) библиотеки. Не в последнюю очередь оттого, что древнерусские рукописи я получаю там из рук Михаила Алексеевича Шибаева и Натальи Николаевны Невзоровой. Михаил Алексеевич – замечательный специалист в области древнерусской книжности. Наталья Николаевна тоже замечательный специалист, но, кроме того, она еще и красавица.

Однажды на моем столе перегорела лампа. Перегорела с хлопком, обратив внимание читателей на мою скромную персону. Все обернулись. Я продолжал сидеть ровно, слегка, может быть, наклонив голову. Я держался как человек, чью научную работу остановить невозможно. Мне казалось, что взрыв лампочки мог свидетельствовать в глазах читателей об интенсивности моего труда. Первой ко мне подошла Наталья Николаевна и сказала, что нужно заметить лампу. Я не возражал.

Разумеется, это могли сделать мужчины – Михаил Алексеевич или я, но они этого не сделали. Михаила Алексеевича в тот момент не было в Отделе рукописей, а я – я просто хотел посмотреть, как это делает Наталья Николаевна. Мне нравится, когда красивые женщины в моем присутствии меняют лампочки.

Выкручивая лопнувшую лампу, Наталья Николаевна поранила палец. Кровь ее медленно капала на мой стол. Я проводил Наталью Николаевну до служебного помещения, где ей оказали первую (она же оказалась последней) медицинскую помощь. Наш с ней путь был отмечен равномерными алыми каплями на полу. Я понимал, что кровь эта в каком-то смысле проливается за меня. За возможность продолжения моей научной работы.

Через несколько минут Наталья Николаевна вернулась в читальный зал с забинтованным пальцем. Степень забинтованности пальца превышала все разумные пределы. Сотрудники Отдела рукописей вложили в процесс бинтования все свои теплые чувства к Наталье Николаевне. Это был один из самых забинтованных пальцев, какие я видел.

Палец Натальи Николаевны был мне теперь живым укором. Почувствовав угрызения совести, я вышел из читального зала, чтобы пройтись по библиотеке. В одном из коридоров я встретил Михаила Алексеевича. Окинув меня взглядом, он спросил, отчего это я так задумчив.

– Да представляешь, – ответил я, – не сдержался и укусил Наталью Николаевну за палец. Теперь вот расстраиваюсь.

Нужно сказать, что Михаил Алексеевич ценит мой юмор. Он улыбнулся и спросил:

– И почему же? Почему, спрашивается, ты ее укусил?

– Она слишком долго выдавала мне рукопись.

Я смахнул ненабжевавшую слезу. Михаил Алексеевич похлопал меня по плечу. Он шел в буфет и находился в хорошем расположении духа. Я отправился работать.

Когда в читальный зал вернулся Михаил Алексеевич, я сидел за своим столом. Михаил Алексеевич помахал мне рукой и улыбнулся. Я ответил ему тем же. В эту минуту из служебного помещения вышла Наталья Николаевна и направилась к Михаилу Алексеевичу. Первым, что он заметил, был, конечно же, ее палец. Он бросил быстрый взгляд на меня, и я стыдливо опустил глаза. Мне стало жаль Михаила Алексеевича. Эта история его явно огорчила. Он пощипал себя за мочку уха и вышел из зала.

Потом Наталья Николаевна, конечно, рассказала ему, как было дело. И хотя рукописи с тех пор выдаются мне без промедления, Михаил Алексеевич уверяет, что ни на минуту не усомнился во мне. Он убежден, что специалист в области древнерусской литературы не способен укусить сотрудника библиотеки.

Вопросы литературы

Замечательный исследователь русской литературы Виктор Андроникович Мануйлов принимал экзамен. Вопрос, попавшийся студентке, касался Гоголя. Видя, что она испытывает определенные затруднения, преподаватель спросил, что именно ей больше всего запомнилось в «Мертвых душах».

– Отгалкивающий образ Мануйлова, – ответила девушка.

Будучи джентльменом, Виктор Андроникович не стал ее поправлять. Для девушки фамилия героя по большому счету значения не имела, Виктор же Андроникович, со своей стороны, сразу догадался, о ком идет речь.

Анатомия истории

В научной среде сохранились воспоминания о профессоре Василии Васильевиче Бауэре. Он преподавал историю в Петербургском университете, Александровском лицее и на Бестужевских женских курсах. Силу Василия Васильевича студенты, лицеисты и курсистки видели в его умении построить фразу.

Говоря о Данте, Василий Васильевич подчеркнул однажды, что великий флорентиец «одной ногой стоял в Средневековье, а другой приветствовал зарю Возрождения». Прицая как-то Елизавету Английскую, проф. Бауэр отметил, что она «одной рукой подписывала смертный приговор несчастной Марии Стюарт, а другой проливала лицемерные слезы».

Ученики Василия Васильевича пережили несколько войн и революций. Они прошли через голод, террор и эмиграцию. Не греша против истины, можно предположить, что их исторический опыт определяли прежде всего события, связанные с Данте, Елизаветой Английской и Марией Стюарт.

Vox populi

Один студент-филолог никак не мог сдать зачет по физкультуре. Физкультура, как известно, не входит в число филологических дисциплин, но без сдачи этого зачета дальнейшее постижение учащимся филологии исключено. Это сделано для того, чтобы заставить филологов двигаться. И в этом есть свой резон: филологи малоподвижны.

В глазах преподавателей физкультуры (которые знают, что ничего, кроме добра, своим подопечным не несут) читается вечная обида. Их постоянно гложет подозрение, что их предмет студенты-филологи считают второстепенным. И это подозрение оправданно. Именно таким их предмет студенты и считают. Это, кстати, одна из причин, почему порой так трудно получить зачет по физкультуре.

Отчаявшись добежать (доплыть, допрыгать) до необходимого норматива, студент попросил преподавателя «просто поставить» ему зачет. Устало попросил. Даже изможденно.

– Как это – «просто поставить»? – удивился преподаватель. – Люди скажут, что вы дали мне взятку.

При слове «взятка» перестали скрипеть даже параллельные брусья.

– А сколько... люди скажут? – спросил после паузы студент.

Ответ преподавателя остался неизвестным. Не дожидаясь его, деликатные физкультурники покинули спортивный зал.

Газовый вопрос

Жил-был преподаватель истории КПСС Геннадий Иванович И. Он трудился в одном из вузов Украинской Советской Социалистической Республики. По свидетельству людей, знавших Геннадия Ивановича, на фоне других преподавателей он выделялся пышными усами и неумением выговаривать слово «конверторный». И хотя слово постоянно требовалось для рассказа о периоде индустриализации, политический урон от его произносимости университетское начальство не было склонно преувеличивать. В глазах начальства он компенсировался, возможно, усами преподавателя, напоминавшими усы героя Гражданской войны Семена Михайловича Буденного.

Несмотря на специфику своего предмета, человеком злым Геннадий Иванович не был. Не был и нелюдимым. На перекуре в туалете мог даже переброситься со студентами фразами, к истории КПСС напрямую не относившимися.

Выкурив однажды сигаретку, Геннадий Иванович подошел к писсуару и раскатисто пукнул. Никто из куривших не засмеялся. Преподаватель истории КПСС как бы олицетворял собой всю партию. А уж смеяться над партией (хоть бы и пукнувшей) не отваживался никто.

– Презимуюем! – произнес Геннадий Иванович, обернувшись к курильщикам.

Несмотря на загадочность заявления, прояснить его никто не попытался. Сигналы партии – откуда бы они ни исходили – в те годы было не принято обсуждать. Хотя жизнеутверждающий смысл высказывания присутствующим был, конечно же, ясен. Сам тон комментария (как и тон комментируемого события) говорил об общей стабильности ситуации и дальнейших расспросов не предполагал.

Раздумывая над этим случаем из истории КПСС, рискну предположить, что повторение его в настоящих условиях невозможно. Не потому даже, что такого предмета в украинских университетах больше не существует (по некоторым сведениям, освободившуюся нишу там теперь заняла история Украины). Просто в обстановке «газовой войны» таких смелых прогнозов о зимовке на Украине себе не позволит никто. Не говоря уже о том, что при среднегодовой цене в три сотни долларов за тысячу кубометров использовать газ так бездумно там просто никому не придет в голову.

Местоблюститель

Декан одного филфака боролся за здоровый образ жизни студентов. После 23:00 он приходил в общежитие и устраивал проверки. Если кого-либо в общежитии не оказывалось, он ложился на кровати отсутствующего поверх одеяла. И ждал. Койка под ним почти не скрипела, но соседи нарушителя режима знали, что декан не спит. Они тоже не спали, ведь, что ни говори, трудно уснуть рядом с деканом. В результате этих мер декан всегда имел возможность точно указать время появления владельца койки. Он мог с фактами в руках отчитать его, сказав, например: «Я ожидаю вас здесь с 23:00». Или: «Сейчас, между прочим, уже два часа ночи». Мог спросить: «Где вы проводили время до 5 часов утра? Почему я вынужден вас здесь дожидаться?» На последний вопрос в точности не мог ответить никто, но ходили слухи, что у декана были какие-то сложности в семейной жизни.

Русские звуки

В Мюнхенском университете я читал однажды курс лекций по древнерусской литературе. Читать попросили по-русски, чтобы изучающие славистику имели возможность послушать живую русскую речь. Как это обычно бывает, состав студентов не был постоянным. Время от времени появлялись новые лица. Иногда исчезали те, кто слушал с самого начала. Спустя время они снова возникали на прежних местах. Жизнь студента непроста (немцы здесь не отличаются от нас), она полна тревог и неожиданностей, а потому не следует осуждать студента за пропуски.

Я и не осуждал. Но не мог вместе с тем не отметить студентки, которая не пропустила ни одной лекции. Она сидела за первым столом и смотрела мне прямо в рот. Никогда еще мой рот не рассматривали так пристально. Ее голубые немецкие глаза фокусировались на нем с первой минуты лекции и больше уже не отрывались.

Отметив этот беспрецедентный в медиевистике случай, я старался сохранять спокойствие. Но об особенностях «Повести временных лет» мне рассказывалось уже не так безмятежно. Может быть, думал я робко, у меня такой особенный и даже красивый рот. Возможно также (чего не придет в голову во время лекции!), мои губы кажутся девушке чувственными. Не исключал я и того, что мои лекции посещает славистка с гипертрофированным интересом к поцелуям.

В самом конце курса я спросил девушку, почему ее так привлекает древнерусская литература. «Древнерусская литература меня не привлекает, – сказала она с акцентом. – Мне важно понять, как именно вы произносите все эти русские звуки». Звучало это неожиданно, но – не обескураживающе. Да, я не догадывался, что восприятие живой русской речи может быть таким беззаветным. Но всякий, кто выступает перед аудиторией, должен быть благодарен за внимание. Любое. Тем более выраженное столь явно. В наши дни, когда никто никого не слушает, внимание – большая редкость.

Искусство и действительность

Аза Феодосьевна Папина преподавала историческую грамматику, а Константин Гаврилович Деликатный (естественно) педагогику. Это были опытные и уже немолодые преподаватели, пользовавшиеся уважением коллег и студентов.

Однажды в аудиторию вошел Константин Гаврилович и объявил, что будет заменять Азу Феодосьевну. Это никого не удивило, ведь для исторической грамматики педагогика – вовсе не худшая замена. И повышение педагогического уровня будущих языковедов могло бы, в сущности, только приветствоваться. Но с первой же фразой преподавателя педагогики в аудиторию вошла Аза Феодосьевна. В ее глазах читалась готовность рассказывать об исторической грамматике.

– А я здесь... вас заменяю, – улыбнулся Константин Гаврилович из-за кафедры.

– Вот как? И почему же? – спросила Аза Феодосьевна.

Она не улыбалась.

– Потому что вы больны, – ответил Деликатный.

– Как видите, я здорова.

Пожав плечами, Константин Гаврилович издал звук сомнения.

– Я думаю, кто-то из нас должен оказаться рыцарем, – предположила Папина.

Ее взгляд сосредоточился на чем-то за окном.

– Но ведь были и женщины-рыцари. – Деликатный сдул с кафедры что-то невидимое. –

Например, Жанна д'Арк.

Аза Феодосьевна смотрела на Константина Гавриловича в упор.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – растерянно сказал Деликатный.

Выходя из аудитории, Папина не проронила ни слова.

Недавно я издал роман «Соловьев и Ларионов». Он, если кратко, о Соловьеве и Ларионове. Плюс множество картинок из научной жизни, частично совпадающих с представленными в настоящей книге. Включая приведенный диалог. Собственно, идея вспомнить эти сюжеты и восходит к роману, где они использовались вперемежку с вымыслом.

И вот что я замечаю. Лица, которые так естественно смотрятся в жизни, становясь персонажами романа, начинают робеть. Порой их просто невозможно ввести в повествовательную ткань. И даже будучи в эту ткань введенными, они путаются в ее складках, словно стесняясь своей недостоверности и как бы избыточности. Иногда меняют имена, потому что автору кажется, что преподаватель, допустим, педагогики не может в литературном произведении носить фамилию Деликатный. Искусство боится искусственности. Оно имитирует реальность и избегает *странных сближений*. А между тем живет себе человек именно с такой фамилией и назло представлениям о реальном преподает как раз-таки педагогику, и посмеивается над литературой, и знает лучше кого бы то ни было, что правда чудеснее вымысла.

Без права на улыбку

Однажды мой коллега берлинский профессор Хайнц П. зевнул на заседании кафедры. Заседание – оно и в Берлине заседание, и ничего интересного на нем, конечно же, не услышишь. Вместе с тем профессор вовсе не собирался зевать демонстративно. Будучи человеком предпенсионного возраста, он вообще избегал привлекать к себе внимание. Особенно со стороны заведующего кафедрой, от которого зависели возможные сокращения. Так что профессор прикрыл рот ладонью и сделал всё, чтобы зевнуть украдкой. Зевая, он услышал хруст и почувствовал боль в челюсти. На мгновение ему даже показалось, что рот не закрывается. Это (думал зевнувший) было бы слишком нелепо.

Все сидели за огромным П-образным столом. Профессор осторожно посмотрел по сторонам и убедился, что его соседям хруст слышен не был. Бывают, как известно, звуки, которые слышишь только изнутри. Вот только рот его действительно не закрывался. Постепенно к берлинскому профессору пришло осознание того, что, зевая, он вывихнул челюсть.

К руке, прикрывавшей рот, он добавил еще одну. Теперь он сидел как бы в задумчивости. Он чувствовал, как натянулась кожа на скулах, и понимал, что даже ладони его не спасают. Что в его лице не было принужденности. Умиротворения того, кто проводит руками по лицу. Было совершенно очевидно, что так мог сидеть только человек, вывихнувший челюсть во время зевка. «Вам с нами так скучно? – был бы вправе спросить завкафедрой. – Послушайте, дружище Хайнц, в конце концов, вас ведь никто не заставляет ходить на заседания. Просто не знаю, что я могу для вас сделать. Хотите, я вас сокращу?»

Нет. Этого Хайнц не хотел. Он взял со стола папку и прижал ее к открытому рту. Его нос вдыхал запах потертой кожи. Профессор вспомнил изваяние Лаокоона, оплетенного змеями. Даже в критической ситуации Лаокоон не позволил себе широко открыть рот, потому что это искажало гармонию лица. Он приоткрыл рот совсем чуть-чуть – так только, чтобы глотнуть воздуха. Рот же не оплетенного змеями профессора был открыт до неприличия. О рте Лаокоона писал Готтольд Эфраим Лессинг, который, в отличие от Хайнца П., в свое время так и не смог зацепиться в Берлине. Но это преимущество профессора уже не радовало. Участники заседания видели поверх папки его грустные глаза. Глаза, полные беспокойства. Все почувствовали, что с коллегой происходит какая-то драма. Суть ее, однако, была всё еще неясна.

Распределяя спецкурсы, завкафедрой поручил один из них Хайнцу П. Профессор кивнул. «Когда вы сможете сдать план этого курса?» – спросил завкафедрой. На такой вопрос нельзя было ответить кивком. Профессор отодвинул папку и показал на свой рот. Наступила абсолютная тишина. Все напряженно смотрели в рот профессора. При внимательном разглядывании стало очевидно, что в левом нижнем ряду не хватает одного зуба. Раньше этого как-то не замечали... Скрипнуло несколько стульев, но молчание по-прежнему никем не нарушалось. Есть ситуации, когда нужные слова приходят на ум не сразу.

«Так», – сказал завкафедрой. Подумав, он добавил: «Обмен мнениями, значит, не состоится». Хайнц П. кивнул. Минут через двадцать за ним приехала «скорая помощь». Вправить челюсть на месте не удалось, и его повезли в больницу. Он был настолько удручен, что даже не пытался прикрыться. С открытым ртом профессора вели через длинный университетский коридор. У встречных студентов рты становились такими же.

В сущности, мой коллега был человеком с чувством юмора. Он был вполне способен пошутить над собой и тем самым в значительной мере разрядить ситуацию. Беда в том, что в некоторых случаях не получается произнести ни-че-го. Невозможно даже улыбнуться.

По счастью, Хайнц П. был застрахован – как и все немецкие профессора. В противном случае оплату медицинских услуг (в Германии весьма дорогих) пришлось бы требовать у университета. При этом пришлось бы доказывать, что имела место производственная травма по

причине ненадлежащей организации работ в университете. Для всех принимавших участие в заседании это было бы в высшей степени обидно.

Правда о Шлимане

Писавшие о Генрихе Шлимане порой отмечали его «патологическую лживость». Под этим беспощадным словосочетанием понимались определенные расхождения между тем, что Шлиман рассказывал о себе, и «объективной реальностью». В этой реальности Шлиман никогда, например, не был на приеме у северо-американского президента и не видел пожара в Сан-Франциско, хотя охотно об этом упоминал. Он никогда не был директором Государственного банка в Петербурге, хотя при случае не останавливался перед тем, чтобы указать эту должность в своей подписи. Но «объективная реальность» и не была для Шлимана истинной мерой.

Гораздо более важной являлась для него категория реальности субъективной, с которой его слова не расходились. Именно эта, субъективная, реальность заставила его убеждать случайную парижскую собеседницу в том, что он родился в Москве. Удивляясь собственной горячности в отстаивании этого тезиса, Шлиман записал в дневнике, что за время беседы он «до того с этим свыкся, что и сам наконец стал думать о себе как о москвиче».

В другой раз Шлиман описывает, как во время его поездки в Рим (1858 год) случайно встретившийся ему у собора Св. Петра человек в течение трех часов правит текст, написанный Шлиманом по-итальянски. Невероятной история могла бы выглядеть уже хотя бы потому, что этим человеком оказывается выдающийся итальянский филолог кардинал Анджело Майи. Не добавляет ей достоверности и то, что Майи умер в 1854 году, т. е. за четыре года до исторической встречи со Шлиманом. Но самым невероятным в этой истории кажется то, что записана она Шлиманом в *дневнике*. Я думаю, после этого ни у кого не повернется язык назвать Шлимана лжецом, как, кстати говоря, ни один ответственный человек не назовет лжецом его соотечественника Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена.

Смягчая жестокие обвинения в адрес Шлимана, замечательный петербургский антиковед Александр Константинович Гаврилов предлагает разумный выход: «Скажем лучше так: Шлиман не любит всем и всегда рассказывать одно и то же»¹. Возвращаясь в конце книги к вопросу о «патологической лживости» Шлимана, Александр Константинович уточняет: «Уместнее было бы сказать, что Шлиман не был патологически правдив»². Эту книгу я бы рекомендовал прочесть всем, кто интересуется Шлиманом. Я бы рекомендовал ее также тем, кто хочет узнать, что такое блестяще написанная книга.

Меня самого в истории Шлимана удивляют не фантазии. Гораздо более фантастическим мне кажется то, что можно назвать реальностью его жизни.

Иоганн Людвиг Генрих Юлиус Шлиман (1822–1890), пятый сын в семье мекленбургского пастора, двадцати лет от роду покидает родные края и решает эмигрировать в Венесуэлу. Корабль терпит крушение у берегов Голландии, и Шлиман оказывается в Амстердаме, где устраивается конторским служащим. Там он изучает голландский, испанский, итальянский и португальский, совершенствуя английский и французский. Мало-помалу Шлиман вырабатывает собственную систему изучения языков, которой затем следует всю жизнь. В один прекрасный день приходит черед русского. Его Шлиман изучает по добытой им грамматике, причем в качестве текста для чтения использует, судя по всему, «Тилемахиду» В.К.Третьяковского. Отчаявшись найти носителя языка, способного исправлять его устную речь, Шлиман нанимает бедняка, которому платит за то, что тот присутствует при декламации «Тилемахиды» наизусть. Слушатель по-русски не понимает, и эксперимент оканчивается для него благополучно. Шлиман приезжает в Петербург и уже через год открывает там собственный торговый дом. В ходе Крымской войны он поставляет в русскую армию свинец, серу и селитру. Живя в России, изу-

¹ Гаврилов А.К. Петербург в судьбе Генриха Шлимана. СПб., 2006. С. 22.

² Там же. С. 351.

чает польский, словенский, датский, шведский, ново– и древнегреческий, латынь, арабский, персидский, хинди и санскрит. За 20 проведенных в Петербурге лет Шлиман становится миллионером. Он оставляет предпринимательскую деятельность и уезжает из России. Его манит Троя. В отличие от большинства «цеховых» ученых, он верит в то, что ее можно найти по описаниям Гомера. И он ее находит. В последнее двадцатилетие своей бурной жизни Шлиман успевает изучить турецкий и древнееврейский.

Чему нас учит жизнь Генриха Шлимана?

Профессиональное научное сообщество – смирению. Оно смеялось над преуспевающим предпринимателем, считая его внекоммерческие увлечения чудачеством. Этот *enfant terrible* мировой науки всё в своей жизни делал не так. Он неправильно изучал языки и наивно полагал, что эпос отражает пресловутую «реальность». Ему было дано по его вере. Языки он выучил так, что на большинстве из них мог говорить вполне свободно, и – что важнее всего – он все-таки раскопал Трою.

Нашему состоятельному классу Шлиман продемонстрировал, что, даже приближаясь к пятидесяти годам, не поздно заняться настоящим делом. Многим нашим олигархам нет пятидесяти. Получается, что у них еще есть время для размышлений.

И наконец, всем нам Шлиман доказал главное: для человека нет ничего невозможного.

Римские каникулы

Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал мне, как в советское время ездил однажды в Италию. Ездил в компании Б., директора одного института. По натуре Б. был человеком нежадным, даже по-русски широким, но в условиях загранкомандировки эти качества ему проявить никак не удавалось. Он экономил, чтобы купить подарок жене. Б. отказывал себе в самом необходимом и на предложения Лихачева посетить тот или иной музей отвечал продолжительным медным взглядом. По музеям Дмитрий Сергеевич ходил один, что его, в сущности, не тяготило.

В собор Святого Петра Б. решил Лихачева сопровождать. Возможно, он полагал, что без посещения Ватикана его поездка в Рим не может считаться полноценной. Может быть, он также смутно надеялся, что в собор как в учреждение религиозное вход окажется бесплатным. В этот день Б. был по-настоящему счастлив. Он восторгался богатством и размерами собора. По винтовой лестнице он поднимался на купол и смотрел оттуда на Вечный город. Спускаясь, Б. бросился обнимать ничего не понимавших немцев и несколько раз прокричал им: «Братцы, как здорово!» Лестница оказалась узкой, уйти немцам было некуда, и они вежливо внимали русскому путешественнику.

На площади Святого Петра предлагались прогулки на лошадях. Выросший в деревне, Б., естественно, захотел тоже прокатиться. Когда выяснилась стоимость катания, Б. от затеи отказался. «Почему, – кричал он Лихачеву, – почему русский доктор наук не может себе позволить прокатиться на лошади?!» Но даже это не могло его расстроить всерьез.

Расстроился он на следующий день. Это был последний день пребывания в Риме, когда Б. на сэкономленные деньги собирался купить подарок жене. По случаю католического праздника магазины в этот день оказались закрыты. Видя, как бурно горюет Б., итальянский профессор Колуччи сказал, что даже в католические праздники работают сувенирные лавки на вокзалах. Итальянец взял у Б. сэкономленное и отправился на вокзал. Он готов был сделать всё, чтобы его русский коллега не уезжал домой огорченным. Но именно по возвращении Колуччи и разразилась буря.

Жене Б. профессор Колуччи купил платки. Несколько газовых платков – в полном соответствии с модой того времени. Он передал их Б. вместе со сдачей. Рассказывая об этом спустя годы, Лихачев так и не мог объяснить, почему именно платки произвели на Б. такое угнетающее впечатление. Увидев их, Б. отшатнулся и взмахнул рукой. Искрящимися итальянскими монетками по тротуару брызнула сдача. «Да зачем мне эти... платки?!» – прокричал по слогам Б. Вопрос был явно риторическим. Не отвечая на него, Лихачев и Колуччи собирали на асфальте сэкономленную Б. мелочь. Они даже не стали спрашивать, каким именно исследователем видел свой подарок жене.

Двойные стандарты

Будучи однажды в научной командировке в Милане, я во время прогулки по городу зашел в общественный туалет. Потому что даже в научных командировках позволяешь себе прогулки, предусматривающие кофе, пиво и другие приятные напитки. Потом – обычная история – ищешь туалет. Подобные истории случались со мной в Германии, в Англии и даже во Франции, где работниц общественных туалетов называют «мадам Пипи2». Повторилась она и в Италии.

У Италии есть одна особенность: на иностранных языках там говорят крайне неохотно. Что, в сущности, и понятно – владея итальянским, на другие языки переходить просто смешно. Применительно к туалету, впрочем, это особого значения не имеет, поскольку стоимость посещения вывешена при входе, а порядок действий известен каждому. Это были еще времена хождения лиры. Заплатив указанные на плакате 400 лир (что уже само по себе настраивало на лирический лад), я вошел в туалет. Через непродолжительное время – при попытке туалет покинуть – я был задержан.

Невзирая на трудности перевода, служительница потребовала у меня 400 лир. Как в старом анекдоте («иностранец жестами объяснил, что его зовут Хуан»), я, в свою очередь, попытался довести до нее более сложную информацию о том, что 400 лир я уже заплатил. Мне было странно, что она забыла об этом так быстро. Энергичным итальянским движением женщина ткнула в плакат пальцем, и я увидел на нем мелкое примечание, упоминавшее в непонятном мне контексте 800 лир. Было от чего прийти в растерянность. Кому, спрашивается, в этом туалете предъявлялся двойной счет? Посетителям старше 18 лет? Лицам мужского пола? Нечленам профсоюза? Наконец – имея в виду двойные стандарты, – может быть, это была особая цена для граждан Российской Федерации?

Я пожал плечами и полез за кошельком. Вопрос не казался мне существенным, и я был готов заплатить. Но – пожал плечами. Этот жест мою собеседницу просто-таки вывел из себя. Она сплющила мой кошелек между моими же руками и сделала мне знак обождать. Через мгновение она появилась с другой женщиной. Та немного говорила по-английски и тут же объяснила мне суть дела.

– 400 лир – это по малой нужде, – сказала она, сведя большой и указательный пальцы. – А 800, – она широко развела руки, – по большой.

Сотрудница туалета кивнула. Сколь разными бывают нужды, она знала, как никто другой.

– Но ведь я ходил по малой нужде, – скромно сказал я. – Дело здесь не в 400-х лирах: я действительно ходил по малой нужде.

И я приблизил большой палец к указательному. Увидев мой жест, сотрудница туалета хлопнула себя по бедрам. Речь ее была краткой, но пламенной.

– Она говорит, – сообщила мне переводчица, – что нарочно проследила за тем, куда вы пойдете. И вы пошли не к писсуару, а в кабинку.

Это было правдой. Туалет – не то место, где я поощряю коллективизм.

– Но в кабинку, – я чувствовал, что спор становится принципиальным, – я ходил по малой нужде.

Сотрудница туалета закатила глаза и заговорила тихо и быстро.

– Она не может ни подтвердить вашего заявления, ни опровергнуть, – сказала переводчица. – Но сам факт посещения кабинки автоматически приравнивается к большой нужде.

Я протянул своему оппоненту деньги и опять пожал плечами. Я сказал, что двойной тариф кажется мне странным, и моя фраза была переведена. Сотрудница туалета тоже пожалала плечами, но в этом пожатии не было удивления. В нем было только негодование. Она с силой вложила мне мои деньги в кулак. Я улыбнулся переводчице и отдал деньги ей.

– Ее огорчает ваше непонимание, – сказала переводчица. – В таких обстоятельствах она просто не может взять ваши деньги. Хотя, в свою очередь, не хочет понять и вас.

Мне было грустно, что мы расстались подобным образом. Я думаю, многие беды происходят от непонимания.

Пристрастие к Броделю

Как-то раз с группой немецких богословов я приехал в Женеву (для начала путевых заметок фраза, по-моему, подходящая). Справедливости ради замечу, что не был при этом ни богословом, ни уж тем более немцем. Просто жизнь оборачивается иногда таким образом, что к событию трудно дать какой-то комментарий.

Знакомивший нас с Женевой человек рассказал среди прочего поучительную историю. Выдающийся французский историк Фернан Бродель, отправляя своего ученика в Лондон, произнес будто бы следующую фразу: «Не знаю, сможете ли вы составить представление об Англии, но о Франции вы составите представление наверняка». Несмотря на то что эти сведения были предоставлены вне всякой связи с достопримечательностями Женевы, восприняты они были вполне сочувственно. Немцы, которые, по моим наблюдениям, вообще питают слабость к афоризмам, чувствовали себя в какой-то степени учениками Броделя: в Женеве они были (в какой-то степени) иностранцами. Приехав в Женеву из Германии, я ощущал себя дважды иностранцем и составлял представление о двух оставленных мной странах одновременно.

В то утро мы видели знаменитые цветочные часы и радугу над огромным фонтаном посреди озера. Яхты, экзотические деревья на набережной, кукольные домики на берегу. Совершенно неожиданно – здания, подозрительно напоминающие наши хрущевки, и притом в большом количестве. При взгляде на них представление о России составлялось как бы само собой.

В середине дня нас принимали в женевском филиале ООН и рассказывали о современных задачах организации. Ведущая встречи предложила задавать вопросы, но вопросов было мало. Помолчав, она сказала: «Мне хочется поделиться с вами одной примечательной историей». Это было сообщение о том, как французский историк Фернан Бродель отправлял своего ученика в Лондон. Во время рассказа я смотрел на лица немецких богословов: на них не отражалось ни малейшего неудовольствия. «Эта история здесь популярна, не правда ли?» – сказал мне на улице один из них. И я не мог с ним не согласиться. То, чего я за десятилетия жизни в России не слышал ни разу, в Женеве за один день мне сообщили уже дважды.

На следующее утро была запланирована встреча во Всемирном совете церквей. В ожидании встречи с председателем Совета референт-индиец рассказывал о межконфессиональном диалоге. Пользуясь паузой, я вышел купить себе кофе. Когда я вернулся с пластмассовым стаканчиком, референт уже обращался к аудитории, полуприсев на стол. Обстановка была явно неформальной. Индиец бросил на меня взгляд и продолжил: «...не знаю, сможете ли вы составить представление об Англии, но о Франции вы составите представление наверняка». Я чувствовал, как горячий напиток растекался по моим пальцам. Немцы сдержанно улыбались. Последний раз эту историю мы услышали в тот же день в главном офисе Красного Креста.

Рассказ об историке Броделе стал моим главным женевским впечатлением. Я никак не мог понять, почему именно он настолько овладел умами живущих здесь людей. Не посягая на *bon mot* французского историка, я припоминаю не менее парадоксальные высказывания, которые, однако же, не повторялись с подобной беззаветностью. Было ли в этом что-то созвучное одной лишь Женеве, будоражили ли женевцев фрейдовские обертоны фамилии историка – до сих пор остается неясным.

Впоследствии в одной из работ Броделя я встречал этот англо-французский сюжет, но там он излагался в общей форме и безотносительно к поездке ученика. Не исключая, что впервые он возник именно на бумаге. Впоследствии, возможно, этот абстрактный пример Броделю так понравился, что в разговоре с учеником он благословил его в афористической форме. Может быть, даже нарочно послал ученика в Лондон, чтобы произнести при этом любимую фразу. Допустимо, наконец, что он использовал выражение неоднократно, а все отправ-

ленные им в Лондон ученики сочли своим долгом приехать затем в Женеву и подробно об этом рассказать.

Дикие люди

Рудольф Фердинандович Итс был директором академического Института этнографии и антропологии, в широких кругах более известного как Кунсткамера. В аспирантуре этого института учился иракский курд Анвар К., который собирался со временем защитить кандидатскую диссертацию. Кроме того, в России он скрывался от преследований Саддама Хусейна. Вторую задачу Анвара Рудольф Фердинандович считал не менее важной, чем первую, и всячески выказывал ему свое расположение. Однажды он подарил ему свою книгу с подписью «Дикому курду от дикого эстонца».

Рудольф Фердинандович давно умер, а Анвар переехал в Швецию. Американцам Анвар доверяет еще меньше, чем Саддаму Хусейну, и домой, судя по всему, не собирается. Когда ему становится грустно, он листает книгу Рудольфа Фердинандовича Итса.

Ошибка рецензента

Недавно наша научная общественность зачитывалась статьей в издании с неприятным названием «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов». Никогда прежде этот курский журнал не пользовался таким вниманием прессы. Никогда еще со времени внедрения в нашу жизнь Интернета научная статья аспиранта не разыскивалась с таким упорством. Сейчас ее название знают все: «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Знают и ее автора – Михаила Сергеевича Жукова.

О чем статья – в точности сказать не может никто, включая упомянутого автора. Ведь Михаил Сергеевич Жуков, выражаясь по-булгаковски, – лицо, существующее исключительно в воображении Михаила Сергеевича Гельфанда, заместителя директора Института проблем передачи информации им. А.А.Харкевича. Именно М.С.Гельфанд, а не М.С.Жуков, обеспечил электронный перевод бессмысленного текста, синтезированного в Массачусетском технологическом институте. И не кто иной, как М.С.Гельфанд, в полном соответствии с компетенцией своего института, передал имевшуюся информацию в курский журнал, где, с учетом замечаний рецензента, ее и опубликовали.

Текст оказался так хорош, что, помимо аспирантского журнала, его (со ссылкой, разумеется, на источник) воспроизвели во множестве изданий. Среди прочего, в нем выделялось замечание о том, что «ключевая пара “общественное – частное” и красно-черные деревья редко совместимы, поскольку обычные методы визуализации не могут быть применимы в этой области». Достойным внимания казался и совет «обратить внимание на то, что развертывание 16-разрядной архитектуры скорее, чем эмуляция ее в программном обеспечении, приводит к менее зубчатым и более воспроизводимым результатам».

Наиболее воспроизводимым результатом действий обоих Михайлов Сергеевичей стала ураганная и абсолютно обоснованная критика в адрес Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки (ВАК). Это она благословила деятельность курского журнала путем включения его в свой «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий». Поясню здесь, что тот, кто хочет защитить кандидатскую или докторскую диссертацию, должен публиковать свои работы в изданиях, упомянутых в «Перечне» ВАК. Было это задумано с целью вывести за пределы научного процесса разного рода сомнительные издания. Несмотря на благие намерения (известно ведь, с какими они связаны дорогами!), внимание как раз таки этих изданий нововведение в первую очередь и привлекло. В «Перечень» они, как водится, пробивались, а пробившись, начали брать деньги за публикацию в них научных – и не очень – работ. И стали у них печататься и, соответственно, платить, ведь защищаться-то (вот он, коррупционный ресурс) нужно. Именно в таком, платном, журнале опубликовал свой труд М.С.Жуков. Хотя защищаться, в сущности, и не собирался.

В ходе обсуждения этой истории много справедливых слов было сказано о реликтовой природе ВАК. О том, что существование этой организации в настоящем ее виде нежелательно, как нежелательно, впрочем, и полное ее упразднение. Обсуждались качество наших научных журналов, уровень диссертационных исследований и даже нравственная сторона поступка Жукова-Гельфанда.

Меньше почему-то говорилось о том безымянном человеке (по некоторым сведениям, преподавателе одного из московских вузов), который на рассматриваемую статью написал рецензию. Всё было бы гораздо банальнее, если бы он попросту пренебрег своими обязанностями и выдал рецензию на нечитаную статью. Так ведь нет же. Неведомый труженик не только прочитал жуковский текст, но и внес в него целый ряд поправок.

Его не смутил пункт, скажем, 3, согласно которому «64 PDF 11 были развернуты по всей сети Интернета и проверена чувствительность к эффекту “византийского дефекта”», ведь, как

ни крути, это не противоречило пункту 4, констатировавшему, что было «выполнено 18 попыток с имитируемой рабочей нагрузкой *WHOIS* и результаты сравнены с имитацией обучающего программного обеспечения». Ввиду того, очевидно, что человек украшает фамилию, а не наоборот, его не насторожила даже ссылка М.С.Жукова на исследователя К.Софтпорна.

Неприятие рецензента вызвало образное – даром что машина – предположение автора о том, что его «подход превращает кувалду связей базы знаний в скальпель». Сразу же последовало замечание: «Стиль изложения может быть хорош для газетной статьи, не для научной!» Вообще говоря, статья М.С.Жукова произвела на рецензента «двойное впечатление». С одной стороны, рецензент признает, что «материал собран методически грамотно, в работе присутствует новаторство и новизна». С другой – жалуется, что статья оставляет у него «впечатление какой-то незавершенности работы».

Легче всего посмеяться над рецензентом, да только – стоит ли? Допускаю, что в областях, не связанных с корчевателем, он является вполне квалифицированным исследователем. Вина этого человека, возможно, лишь в том и состоит, что он побоялся показаться некомпетентным: не знает, мол, «византийского дефекта». Поди его разбери, этот дефект. Ведь если Византийская империя пала, стало быть, не обошлось без дефекта. Примерно так мог рассуждать этот человек.

Даже если его рецензия была ошибочной, он сумел продемонстрировать миру, что логика синтаксических связей вполне способна заменить логику текста. Изредка (например, в выступлениях Виктора Степановича Черномырдина) тексты могут обходиться вообще без синтаксических связей и быть тем не менее популярными. Возможно, именно это и хотел донести до нас рецензент. В конце концов, если его коллеги-литературоведы видят смысл в текстах концептуалистов, почему этого смысла он не мог видеть в статье о корчевателе? Точно так же, как вполне осмысленным кому-то может представляться «анализ русской натурфилософии в ракурсе ее сопричастности – как тематически, так и методологически – интердисциплинарно релевантному проблемному полю, сопрягшему в себе гетерогенные и, на первый взгляд, альтернативные (по меньшей мере обычно сочетаемые дизъюнктивно) исследовательские стратегии, присущие современному уровню развития философской мысли». Последняя цитата не из «Корчевателя». Это фрагмент философского исследования, о котором мне случилось писать в одной (да-да!) рецензии.

Из сказанного следует, что текст статьи о корчевателе никоим образом нельзя называть бессмысленным. Неизвестный рецензент – если я правильно понимаю его истинные намерения – затронул тему в высшей степени важную. Речь идет уже не о курском журнале (его оперативно выбросили из «Перечня») и даже не о реформе ВАК (она необходима). Дело касается понимания как философской проблемы. Открывшихся возможностей обретения смысла там, где его, на первый взгляд, нет. Есть слова, значение которых проясняется через десятилетия, а то и века. Ведь любой текст – будь то компьютерный самоучитель, т. н. «вакуумная» поэзия, инструкция по сборке мебели, предписания Минобрнауки или то, что произносится ведущими ток-шоу, – имеет свой смысл, пусть до поры и неочевидный. Есть множество загадочных текстов. И они ожидают своего часа. И рассказ о корчевателе в этом ряду не кажется такой уж экзотикой.

Ученые – строителям

Те, кто въезжает в Киев с восточной стороны, на высоком берегу Днепра видят цельносварное сооружение из нержавеющей стали (высота с постаментом 102 м). В путеводителях оно обозначается как монумент-скульптура «Родина-мать». Поскольку сооружение безнадежно испортило вид на Киево-Печерскую лавру, многие киевляне «Родину-мать» называют «Лаврентьевной». На открытии памятника в 1981 году, сходя фактически в гроб, успел поприсутствовать Л.И.Брежнев.

В то далекое от нас время, когда талант З.К.Церете ли только мужал, монументальную скульптуру в СССР развивал Е.В.Вучетич. Евгений Викторович, ушедший из жизни до Леонида Ильича, оставил, однако, Киеву монументальный проект, предусматривавший у подножия «Родины-матери» (у Вучетича она была существенно выше) 30-метровый водопад. По обе стороны водопада замышлялись циклопического размера воины, по-роденовски неприступно выходящие на склоны Днепра.

И со скульптурной, и с градостроительной точек зрения проект был, мягко говоря, небесспорным. Вместе с тем авторитет Вучетича у властей был так высок, что даже после его смерти споры с ним были нежелательны. Выслушивая разные мнения о проекте, власти были, в сущности, склонны его одобрить. Возражения эстетического и историко-культурного порядка большого впечатления на них не производили.

По одной из рассказанных мне в Киеве версий, ситуацию якобы спас какой-то академик-архитектор. Взывая к коллективной мудрости украинского ЦК, этот старичок призвал задуматься над одной немаловажной деталью: если предполагается, что из Днепра станут выходить обнаженные люди высотой в десятки метров, то какого же размера у них должен быть срам? Сейчас уже трудно сказать, кто, по слову классика, «нам помог» – протесты общественности, дороговизна материала или целомудрие украинского ЦК, – но факт остается фактом: «Родину-мать» в Киеве понизили, а водопад с воинами убрали.

Спустя годы аналогичная ситуация сложилась в Петербурге. С маниакальной настойчивостью в городе пытались построить 400-метровый небоскреб в форме кукурузы. Многочисленные протесты архитекторов, историков культуры, философов, филологов и юристов несколько лет оставались без внимания.

В какой-то момент, однако, появилась надежда, что и в этой истории, подобно киевской, поможет свежий взгляд на вещи. Его предложил профессор Лев Моисеевич Щеглов, питерский сексолог и телеведущий. По мнению профессора, мечта построить сооружение указанной формы скрывает под собой глубинные психолого-сексуальные проблемы. Лев Моисеевич также справедливо полагал, что подобные проблемы нужно решать у специалиста.

От строительства «Охта-центра» в конце концов отказались. Это решение (как, впрочем, и решение о строительстве) не сопровождалось особыми пояснениями, но слово науки сыграло здесь, возможно, не последнюю роль. Если заявление профессора Щеглова я понимаю правильно, он способен оказать помощь любому, кого замучили мечты о небоскребах.

Подземный мир

В Петербурге я живу у станции метро «Спортивная». Название столь же яркое, сколь и редкое. Первоначально предполагалось, что станция будет называться «Тучков мост» (у этого моста она расположена), и в мечтах мне уже слышалось, как, давая свой адрес, я произношу два симпатичных слова. Но, как пелось в одном романсе, «и может быть, мечты мои безумны»: «Тучковым мостом» станция не стала. В то время городской администрацией вынашивалась идея провести в Питере Олимпийские игры 2004 года. Ввиду близости стадиона и Дворца спорта станцию решили назвать «Спортивная».

С Олимпиадой не сложилось. Вероятно, на фоне общего состояния дел в городе спортивный топоним не произвел на отборочную комиссию никакого впечатления. Мечты об Олимпиаде (еще раз сошлюсь на упомянутый романс) ушли, но «Спортивная» – осталась. И я решил обратиться к моему коллеге по Пушкинскому Дому академику Александру Михайловичу Панченко. В девяностые годы Александр Михайлович возглавлял Топонимическую комиссию. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это был лучший председатель комиссии за всё время ее существования. Встретив академика в коридоре Пушкинского Дома, я спросил его, нельзя ли «Спортивной» присвоить то название, которое предполагалось при ее проектировании. Александр Михайлович грустно покачал головой: «Знаете, это – подземный мир. С этим трудно что-либо сделать».

С тех пор труднопреодолимые и, в общем, малоприятные обстоятельства в моем сознании прочно связались с подземным миром. Определение вышло для меня далеко за пределы Петербургского метрополитена. В череде событий, разрушающих метафизику города, «Спортивная» оказалась самым невинным. Ну, хотели провести Олимпиаду, ну, заказали мозаики на олимпийскую тему. Не отбирать же у кого-то дорогостоящий заказ. В конце концов, звуковая реклама в метро давит на психику гораздо сильнее олимпийской мозаики.

Фраза Александра Михайловича встала передо мной в полный рост, когда на одной оси с Петропавловской крепостью построили «Петербургский Монблан» – огромных размеров сооружение, непонятно (или понятно?) как добившееся разрешения на свой жуткий экзистенс. Глядя на то, как этаж за этажом подрастал этот монстр, я уже не сомневался в его происхождении. Взламывая асфальт и окружающие дома, на всеобщее обозрение выходил подземный мир.

Оказавшись на поверхности, подземный мир начал рваться в небеса. Это стало понятно с объявлением конкурса на строительство газпромовского небоскреба. Сначала проект назвали «Газпром-сити», затем название изменили на «Охта-центр». Не решились, видимо, обозначить подземные (газ все-таки) источники финансирования. Оба названия в высшей степени китчевые и безвкусные – как, впрочем, и сама идея строительства небоскреба в Петербурге. В городе сложилось мнение, что подобная идея могла посетить только того, кто лишен глаз. Или головы. Или никогда не выходил на поверхность. Глубоко подземная идея.

Вредные привычки

Академик Александр Михайлович Панченко однажды пригласил меня на заседание Топонимической комиссии Петербурга. Комиссия занималась тогда возвращением улицам исторических названий. Речь в тот день шла о переименовании улицы Щорса в Малый проспект Петроградской стороны. Некоторым исконное название казалось слишком длинным.

– Раньше, – говорили они, – можно было дать домой телеграмму: «Ленинград. Щорса». А сейчас – извольте: «Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны», потому что есть и Малый проспект Васильевского острова.

– Так не во всяком городе есть два Малых проспекта, – возражали им. – Тоже ведь понимать нужно.

Больше всех горячился пожилой представитель компартии. Расставаться со Щорсом ему не хотелось. Его уговаривали, напоминали, что еще пол-Питера носит коммунистические названия, что существует, к нашему общему стыду, даже улица Белы Куна, которого за зверства в Крыму любой трибунал признал бы военным преступником.

Так или иначе все выступления были обращены к Панченко. Не как к председателю комиссии даже, а как к выдающемуся ученому. Но Панченко молчал. Кому-то вспомнились красивые слова из песни о Щорсе:

Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый тянется
По сырой траве.

Представитель компартии зачитал подробную справку о Щорсе с экскурсом в историю Гражданской войны. Вспомнился, конечно, и другой куплет:

В голоде и холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.

Помолчали. Не видя реакции Александра Михайловича, выступавший кратко проинформировал присутствующих о перспективах мирового коммунистического движения. Панченко слушал, опустив голову. Академического спора не получалось.

– В конце концов, – крикнул поклонник комдива, – сотни тысяч людей называли эту улицу улицей Щорса! Почему вы топчете их привычки?

– Так ведь есть и привычка в носу ковырять, – тихо заметил Панченко.

Аргумент оказался исчерпывающим. Он подвел итог ожесточенному спору, и улицу переименовали.

Годы спустя, уже после смерти Панченко, мне пришлось еще раз присутствовать на заседании Топонимической комиссии. В тот раз безымянной набережной против Пушкинского Дома комиссия отказалась присвоить имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ученикам Лихачева дали понять, что такое наименование вряд ли совпадет со вкусами тех, кто в эту набережную будет «вкладываться». Песен на этот раз уже никто не вспоминал: время стало прагматическим, да и лица присутствующих были совсем другими. Замена Александру Михайловичу была явно неравноценной.

С уходом Панченко процесс возвращения исторических названий сошел на нет. До сих пор в самом центре города преспокойно существуют улицы, носящие имена Ленина, Воскова, Блохина и многих совсем уж ныне забытых участников революционного террора – в боевой компании с улицами Красного Курсанта, Пионерской и т. п. Под этими именами и кличками ведут свое призрачное существование Широкая, Матвеевская, Большая Белозерская, Церковная, Большая Спасская, Большая Гребецкая и другие улицы, чьи старые и прекрасные имена никто не возвращает.

Говорят, что дело теперь не в Топонимической комиссии, а в том, что городские власти слишком привыкли к названиям советским. Не исключено также, что в отсутствие Александра Михайловича для возвращения исторических названий властям просто не хватает аргументов.

Мало приятного

Выдающийся литературовед Ф. в конце жизни разговаривал сам с собой. Это ни в коей мере не указывало на его (не вижу, мол, достойного собеседника) заносчивость, потому что Ф. находил возможность разговаривать и с другими. В сущности, то, что в данном случае называли беседой с самим собой, было скорее мыслями вслух, произносившимися негромким голосом. Таким голосом в театре произносят реплики с ремаркой «в сторону». Эти тексты звучали независимо от присутствия коллег, что характеризовало Ф. как человека, расположенного к откровенности. Стоя рядом с ним в библиотеке, можно было услышать:

– Посмотрю-ка эту книгу. Новая... Чушь, наверное. – Шуршание пролистываемых страниц. – И ведь точно – чушь.

Следует заметить, что, обладая хорошим вкусом, в своих оценках Ф. обычно не ошибался.

Когда волна компьютеризации дошла до Пушкинского Дома, фирма, устанавливавшая технику, прислала своего представителя для обучения потенциальных пользователей. Пользователь Ф. смотрел в окно и вникнуть в объяснения компьютерщика даже не пытался.

– Слишком поздно, – задумчиво сказал Ф., – слишком поздно. И не нужно.

Последнее мое воспоминание об этом человеке – в высшей степени зимнее. Подходя однажды в метель к Пушкинскому Дому, я увидел Ф. В полусотне метров впереди меня он двигался механической походкой немого кино. Сверху донизу картинка перечеркивалась полосами колючего снега и сопровождалась полным отсутствием звука: эта метель поглощала не только изображение, но и звук. Приблизившись к сугробу, Ф. так же беззвучно в нем исчез. Через мгновение – как негатив предыдущего кадра – он вновь возник с абсолютно белой спиной.

В Пушкинский Дом мы с ним вошли почти одновременно. Принимая его пальто, гардеробщица сочувственно спросила: «Упали где?», но Ф. не ответил. Вид у него был довольно свирепый. Поднимаясь по лестнице, Ф. сказал самому себе:

– Разве что-нибудь приятное услышишь?

Умер он, если не ошибаюсь, в ту же зиму. Метель к тому времени сменилась жестоким морозом, который в условиях питерской влажности переносится с большим трудом. Я поехал договариваться о похоронах с одним из пригородных кладбищ. На нем Ф. завещал себя похоронить рядом с родными. От станции до кладбища я шел пешком по шоссе, и это, пожалуй, были два самых длинных километра в моей жизни. Кожа лица, неспособная обогреть ледяной воздух, и сама, как мне казалось, превращалась в лед. Так что если бы я, скажем, захотел улыбнуться (а улыбаться мне не хотелось), сделать этого я бы не смог.

В дирекции кладбища у меня потребовали – трудно поверить – денег. Кладбищенскому коротко остриженному руководству было, как ни странно, недостаточно того, что у них похоронят крупнейшего специалиста в области русской литературы. Действительного члена (присутствующие сдержанно заулыбались) Академии наук. Я не уходил только потому, что в помещении было тепло. Подумав, попросил разрешения позвонить в Пушкинский Дом.

– Деньги? – удивились на том конце провода. – Будем связываться с Академией наук. Ждите новостей на месте.

Минут через пятнадцать на кладбище зазвонил телефон. Судя по тону кладбищенского начальства, звонили не из Пушкинского Дома и даже не из Академии наук.

– Да-да. Похороним в лучшем виде. Об чем речь. – Говоривший повесил трубку и посмотрел на меня усталым взглядом. – Ну, могилям хоть дашь на бутылку? Холодно копать-то.

Я достал всё содержимое карманов – несколько скомканных бумажек – и положил на его стол. Одну бумажку (мой обратный билет на электричку) я, поколебавшись, забрал.

– Одно слово – академики, – сказал строгий человек и сгреб выложенные деньги в ящик. Сквозь полузамёрзшее окно за его действиями следили могилы.

В тот же вечер у меня поднялась температура, и на похороны я уже не поехал. Когда катафалк с телом Ф. прибыл на кладбище, выяснилось, что его могила еще не вырыта. Кладбищенского начальства не было, а могилы держались индифферентно. Кто-то из пушкинодомских было возмущен, но один из могилей пригрозил, что сейчас его закопает. Разве что-нибудь приятное услышишь, как сказал бы Ф...

Через какое-то время приехал трактор и вырыл-таки могилу. Могилы ее только слегка подровняли. Мне вот что кажется: в нашей жизни мало приятного. В оценке нашего отношения друг к другу, да и атмосферы в целом, фраза Ф. чрезвычайно точна. Статистика и ощущения говорят, что жизнь стала чуть легче. Только ведь уменьшение плохого не всегда ведет к увеличению хорошего. Потому что хорошее должно быть и в виде приятного. А приятного – мало.

Сеанс с разоблачением

Эту историю рассказал литературовед Евгений Александрович Маймин.

В 1949 году филфак Ленинградского университета был озабочен разоблачением «космополитов». Одним из первых предполагалось разоблачить выдающегося исследователя русской литературы Бориса Михайловича Эйхенбаума. Определенная сложность предприятия состояла в том, что разоблачаемого в это время не было в городе. После второго инфаркта он находился в сестрорецком санатории для сердечников. Родных Бориса Михайловича беспокоило его здоровье, и о происходящем в университете ему ничего не говорили.

Здоровье Бориса Михайловича беспокоило и декана филфака. После долгих раздумий он отправил в Москву феноменальный запрос: «Как быть с Эйхенбаумом, если он умрет раньше, чем его разоблачат? Хоронить его как космополита или как профессора?» Не сочтя этот текст подражанием Андрею Платонову, из Москвы ответили: «Как профессора».

Вернувшись в Ленинград, Эйхенбаум принял известие о своем увольнении из университета философски. Даже поэтически:

В дни юбилея В.Гюго
И Николая Гоголя
Не получил я ничего —
Ни хлеба, ни алкоголя.

«Да ведь это стихея, – сказал он тогда своим ученикам. – Как со стихеею бороться?»

Коллизия между Борисом Михайловичем Эйхенбаумом и советской властью разрешилась, как это часто бывает, компромиссом. Советская власть в тот раз позволила Борису Михайловичу выжить, в результате чего он предоставил советской власти возможность себя разоблачить. А мог ведь умереть неразоблаченным.

Легкое дыхание

Вслед за Ленинградским университетом «космополитов» начали прорабатывать и в Пушкинском Доме. Зайдя в туалет, Борис Михайлович Эйхенбаум сказал: «Вот единственное здесь помещение, где легко дышится». С тех пор много там воды утекло. Интересно, что самые неприятные вещи в Пушкинском Доме по-прежнему случаются вне туалета.

Литературоведы в блокаду

В майские дни я вспоминаю рассказы стариков Пушкинского Дома о блокаде. Как всякое свидетельство о трагедии, рассказы их были пронзительны. Между тем сквозил в них и несомненный мифоборческий оттенок. Вообще говоря, я хорошо отношусь к мифам. Миф – это не выдумка, как легкомысленно кто-то может подумать. Миф (назовем его для благозвучия легендой) – это форма восприятия явления, наше активное к явлению отношение. Легенды возникают вокруг вещей масштабных. Они лишь подчеркивают их размер.

Была, например, распространена легенда о том, что, покинув Бадаевские склады, по Невскому проспекту шли крысы. Предчувствуя судьбу складов, крысы якобы ушли еще до их сожжения и перебрались в порт. И хотя этот сумрачный марш описан не в одном литературном произведении, пушкинодомские литературоведы его не помнили. Они говорили о том, что, направляясь в порт, крысы вовсе не были обязаны идти через Невский. Напротив: чтобы промаршировать по главной улице, им, крысам, пришлось бы даже сделать крюк. Так считали наши старики.

В сущности, мне было жаль расставаться с легендой о крысином марше. В глубине души я до сих пор допускаю, что на Невский крысы заглянули намеренно. Может быть, они указывали городским властям на фатальную неподготовленность города к блокаде, потому что людей к тому времени уже не слушали.

Но реальность была удивительнее легенд. В блокадное (как и во всякое другое) время Пушкинский Дом оставался необычным местом. В нем хранились рукописи Пушкина и доброй половины русских классиков. Имелись также сапоги, сшитые Львом Толстым, локоны Гоголя и Тургенева, карандаш, бывший во время дуэли в нагрудном кармане Лермонтова, и даже сноп пшеницы, подаренный Некрасову крестьянами Карабихи. Наконец, в Пушкинском Доме было то, чего нет ни в одном литературоведческом учреждении мира: подводники.

Они появились вместе с базой подводных лодок, обосновавшейся здесь же, на набережной Малой Невы. Из всех находящихся в Пушкинском Доме экспонатов подводников заинтересовал лишь некрасовский сноп. Будучи людьми практическими, подводники обратились к президенту Академии наук академику Комарову с вопросом, нельзя ли эту пшеницу съесть. Ботаник Комаров ответил короткой телеграммой: «Валяйте, ребята!» Сноп подводники обмолотили и съели в новогоднюю ночь.

Об этой ночи рассказывали и пушкинодомцы. Они вспоминали о замерзших фекалиях на окнах домов. Этими страшными гирляндами город встречал новый, 1942-й, год. Канализация уже не работала, и ночные горшки выливались через форточку. Спуститься на улицу у многих не хватало сил.

Сил не хватало даже у тех, кому нужно было выбраться из горящих домов. Об одном таком доме однажды рассказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это был дом на Мытнинской набережной против Пушкинского Дома. На его крышу упала зажигательная бомба, и огонь шел сверху вниз. Шел медленно – четыре дня. Отсветы его по ночам плясали на колоннах Пушкинского Дома. Лихачев отправился было вытащить остававшихся, возможно, в нем людей, но на мосту через Неву его оставили силы. Он едва смог вернуться обратно. Впоследствии этот дом восстановили, и Дмитрий Сергеевич многие годы смотрел на него из окна своего кабинета. Сейчас на месте дома зияющая пустота. Городские власти снесли его и обещают построить новый – точно такой же. За исключением, разумеется, теней погибших. Не приходится сомневаться, что в этот новодел они уже не вернуться.

О блокаде Лихачевым написано несколько десятков страниц. Собственно говоря, не так уж много. Но, по мнению многих, его «Воспоминания» – самое сильное, что сказано об этом времени. Самое сильное и самое страшное. Без страха перед физиологическими подробно-

стями и без «сюсюка», как с прямотой бывшего зэка Лихачев называл советскую литературу о блокаде.

Его собственные воспоминания не просто трагичны. За лишенным риторикой, почти монотонным перечислением происходившего явственно проступает эс хатологическое начало. «Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог», – говорится в его книге. Он рассказывает о случаях величайшего самоотречения и немыслимых зверствах: любое явление имеет два полюса, и чем это явление ужаснее, тем резче полюса. Рассказывает о Пушкинском Доме, об умиравших один за другим литературоведах, о дирекции, обедавшей за закрытыми дверями и торговавшей институтской квотой на эвакуацию. Этот Дом был лишь маленькой моделью города, пожираемого блокадой. Города с нечеловечески страдающими людьми. С Андреем Александровичем Ждановым во главе, получавшим спецрейсами ананасы. Сохранявшим силы для своего главного литературоведческого труда, опубликованного в 1946 году.

Дом и остров

Под стрекотание пленки, в чернобелом: 1919й, голодающий Петроград, крупный план петропавловского шпиля. Мой прадед, директор гимназии (вросшее в переносицу пенсне), отправив семью к знакомым в Киев, уходит добровольцем в Белую армию. Что ему тогда увиделось – мутный рассол Сиваша, лазурное небо Ялты? – я ведь даже не знаю, где он воевал. Известно лишь, что на родной Троицкий проспект прадед уже не вернулся: там все знали, по какой надобности он отсутствовал. После разгрома белых прадед («Петербург, я еще не хочу умирать») отправился к семье на Украину, что в конечном счете и спасло ему жизнь. Петербург остался где-то далеко, стал лучом давнего счастья и семейным преданием. Покинутым домом, в который семья вернулась спустя лишь долгие десятилетия – в моем лице.

Цветные кадры аэропорта Пулково. В город на Неве я прилетел осенью 1986 года, поступив в аспирантуру Института русской литературы, более известного как Пушкинский Дом. Это академическое учреждение туристы путают порой с Мойкой, 12, но – Пушкин в Пушкинском Доме не жил. Жаль, конечно, потому что здание – красивое, с колоннами, отчего бы ему там и в самом деле не жить? Будь на то наша, пушкинодомская, воля, мы бы его там поселили.

Нам всем хочется сделать что-то для Пушкина, да и не только нам. Фотографию моей дочери на фоне Спасской башни Кремля одно немецкое издание сопроводило пояснением, что это Пушкинский Дом. Несмотря на фактическую неточность, немцы обнаружили знакомство с нашей системой ценностей. Есть своя логика в том, чтобы на главной площади страны стоял именно *его* дом.

Приехав в Пушкинский Дом, я попал на подготовку праздничного капустника. Дмитрия Сергеевича Лихачева, моего будущего многолетнего учителя (формально – начальника), поздравляли с восьмидесятилетием. ДзЭса – так его называли в Отделе древнерусской литературы – приветствовали те средневековые герои, о которых он писал. Мне досталась роль Василька Теробовльского, коварно ослепленного князьями. Романс Василька исполнялся мной под гитару. Голос мой, как положено, дрожал – до некоторой степени от сочувствия Васильку, но главным образом оттого, что я поздравлял всемирно известного академика. В сравнении с тем, что довелось повидать ДзЭсу в концлагере, княжеское преступление было, видимо, не самым страшным злом, но слушал он меня сочувственно.

Потом мы сыграли капустник еще раз на отмечании юбилея в ресторане. К моменту выступления мне удалось промочить горло, и голос мой дрожал уже меньше. Нужно сказать, что к пирам у Лихачева было отношение древнерусское. Близких людей ему нравилось собирать – дома, в банкетных залах или на даче в академическом поселке Комарово. Восьмидесятилетие Дмитрия Сергеевича мы праздновали в интуристовском ресторане, потому что в обычных ресторанах (кто сейчас помнит антиалкогольную кампанию?) после семи вечера не подавали водку. Ничего, кроме вина, Лихачев не пил, но, зная, что его сотрудники не отвергают напиток и покрепче, предпринял всё, чтобы эти напитки были.

Закругляя тему пиров, вспомню последний день рождения Дмитрия Сергеевича, на котором мне довелось присутствовать. К тому времени я давно уже не пел. Под влиянием Лихачева я стал человеком письменного текста и написал ему стихотворение. В этом стихотворении отразилась, среди прочего, любимая академиком мысль, что возрождение России начнется из провинции:

Спадает зной. Вдали грустит баян.
Захлопыванье ставен. Скрип ступенек.
Деревня Комарово: из крестьян
Здесь ныне каждый третий академик.

Мужского рода кофе на столе,
Изыскан слог, и чувствуешь в волнение,
Как рост образования на селе
Готовит всей России возрождение.

Да, тогда я уже не пел. Но пока пел, слушал меня не только Дмитрий Сергеевич. Всё спетое, как выяснилось, произвело впечатление на мою соученицу по аспирантуре Таню, русскую немку из Казахстана. Лихачев называл ее «тихой душой нашего сообщества». Определение было удивительно точным. Не будучи тихой душой нашего сообщества, я проявил активность, и через год с небольшим Таня стала моей женой.

Весь этот год наши отношения мы скрывали. Нам казалось, что Дом, в который мы оба попали, подразумевает лишь один род любви – любовь к науке. Всякие иные связи, устанавливаемые между исследователями, виделись нам не то чтобы предательством – скорее дурным тоном. Мы жили в общежитии аспирантов, вполне по советским меркам неплохом. Я располагал там «койкомесом», а Таня, как аспирантка третьего курса, завершающая диссертацию, – отдельной комнатой.

Исследовательницу, к тому времени добившуюся в науке значительно больше моего, я посещал ежевечерне. После насыщенного дня, проведенного в Пушкинском Доме или в библиотеке, я неутомимо интересовался способами датировки древнерусских рукописей, особенностями новгородского диалекта или переводом отдельных древнерусских фрагментов. Мой научный аппетит к вечеру удваивался.

Я думаю, девушка не хуже меня догадывалась, куда лежит курс, но отказать пылливому исследователю не могла. В те годы – годы бескорыстия и взаимопомощи – это не было принято. Я слушал Танины объяснения, и чувствовал, как к моим ушам приливает кровь, и прижимал к ним холодные ладони, и ничего сквозь прижатые ладони не слышал. Я ничего не слышал бы и без них. Смотрел на воздушные Танины пальцы, втайне лелея мечту оставить свое одинокое койкоместо и переселиться к ней. Как-то незаметно это и случилось.

Вообще говоря, в отношении людей семейных научное общежитие не было дружественным местом. Его возглавлял некто Валентин Иванович, партиец со стажем и человек трудной судьбы. Трудности его, по слухам, состояли в том, что, будучи прежде директором интуристовской гостиницы, он попался на организации сексуслуг для постояльцев. Голубоглазых ленинградских комсомолок Валентин Иванович передавал в жадные руки империалистов, получая вознаграждение – и это оказалось самым тяжким пунктом обвинения – в иностранной валюте. Ему светил немалый срок, но какие-то немислимые связи в обкоме партии в последний момент его спасли. Впрочем, в Смольном всё еще хранили память о благородных девицах и проступком Валентина Ивановича (а особенно тем, что попался) довольны не были. Валентину Ивановичу придумали свое наказание, и оно оказалось изощренным: его поставили директором аспирантского общежития.

Вопиющее безденежье отечественных аспирантов оставляло организаторский опыт Валентина Ивановича невостребованным. Влача непривычное для него безвалютное существование, директор общежития скатился к мелкому вымогательству в рублях. Когда мой коллега Владислав попросил на время учебы поселить в общежитии и его жену, Валентин Иванович удивился. «Странная просьба, – сказал он. – Представьте, что я попросил бы у вас, скажем, тысячу рублей». Будучи филологом, аллегорию Владислав понял, но тысячи рублей (по тем временам значительной суммы), у него не было.

У меня тоже не было тысячи, но я с моей (будущей) женой жил совершенно бесплатно. Об этом факте нашей – тогда уже общей – биографии Валентин Иванович не знал, иначе, не сомневаюсь, это влетело бы нам в копеечку. Что же касается коллеги Владислава, то он после некоторых раздумий написал письмо Горбачеву, которое, как и положено, в конечном

счете приземлилось в Смольном. Разбираться в сложившейся ситуации прислали одного академика-биолога. Собрав обитателей общежития, академик долго стыдил Владислава и аспирантов за то, что отрывают Михаила Сергеевича от важных дел. Пристыдив всех, кроме Валентина Ивановича, академик удалился. Впоследствии выяснилось, что перед нами выступал крупный специалист в области беспозвоночных.

Но контроль осуществлялся не только со стороны Валентина Ивановича. Почти ежедневно нас посещали многочисленные соседи по общежитию. Они (молодость наблюдательна) время от времени регистрировали происходившие в Таниной комнате перемены. Одной из таких перемен оказались однажды мои носки, ненавязчиво выглядывавшие из-под Таниной кровати.

– Чьи это носки? – последовал простодушный вопрос.

Таня тогда сменила тему, но было очевидно, что наша маленькая тайна доживает последние дни. Несмотря на то что я стал прятать носки так далеко, что и сам порой не находил их впоследствии, они обладали удивительным свойством показываться в самый неподходящий момент. Выныривать из ниоткуда в компании моих футболок, зубных щеток и бритвенных принадлежностей.

Впрочем, всем всё уже было ясно, вопрос заключался лишь в констатации факта. А с этим мы всё еще медлили. Дело шло к окончанию аспирантуры – сначала Таниной, потом моей. И Тане, и, позднее, мне Лихачев предложил работу в Пушкинском Доме. Когда для принятия меня на работу понадобилось решать непростую проблему ленинградской прописки, Дмитрий Сергеевич (перед этим он хлопотал о прописке для Тани) пригласил к себе нескольких сотрудников Отдела древнерусской литературы.

– Не хочется лишний раз обращаться в Смольный с просьбами, – сказал он. – Я слышал, что Женя и Таня... дружат. Если они станут мужем и женой, Женя получит прописку автоматически. Вы не могли бы поинтересоваться их планами?

– Но... Дмитрий Сергеевич, – развели руками сотрудники, – как можно спрашивать о таких вещах?

– Только в лоб, – ответил Лихачев.

На следующий день всем стало известно, что хлопотать о моей прописке не нужно. С этого дня для коллег мы перешли в совсем другой статус, и в этом было что-то семейное. Так родители, обнаружив, что дети выросли, начинают давать им подчеркнуто взрослые советы. Звонящее молчание, окружавшее прежде запретные сферы, сменяется столь же гулким пониманием и солидарностью. Случалось, институтские дамы шепотом указывали Тане аптеки, где «выбрасывали» презервативы – один из дефицитов тех времен. Мы же, следуя академической этике, продолжали делать вид, что предметом нашего общения является исключительно наука. Когда после свадьбы Танин живот стал все-таки расти, стало очевидно, что наши с ней отношения носят совершенно неакадемический характер.

Свадьбу мы праздновали трижды – в Караганде, Киеве и Питере. При этом в каждом из городов получили талоны на приобретение колец и кое-чего из одежды. Стоял 1989-й год, и в свободной продаже ничего было уже не купить. Справедливости ради скажу, что талонами мы воспользовались только для покупки Таниного свадебного платья, колец и обуви – на всё остальное денег у нас не было. Свадебный костюм мне подарили мои родственники. Зато обувь, которая была в абсолютном дефиците, мы купили в каждом из трех городов. Заполняя шкаф обувными коробками, мы чувствовали себя брачными аферистами.

Нашу питерскую свадьбу отмечали в общежитии, где для этих целей нам была предоставлена «ленинская комната». В этой комнате лежали подшивки центральных газет и стоял, как полагалось, бюст того, чье имя комната носила. К нему, однако, у меня были большие претензии, и его присутствия на моей свадьбе я потерпеть не мог. Кроме того, зная взрывной характер некоторых гостей, я допускал, что присутствие вождя мирового пролетариата добром не

кончилось бы и для него самого. Вынести Ленина из комнаты было единственно возможным решением.

Это был довольно большой Ленин, и вначале я да же засомневался в возможности вынести его одному. С другой стороны, мне не хотелось делать кого-либо соучастником события с непонятным, по сути, исходом: время-то было еще советское. Подойдя к бюсту, я приподнял его – несмотря на внушительный размер, он был совсем не тяжелым. Ленин оказался полым. Подобно прочим советским конструкциям (включая и сам Советский Союз), большая вещь оказалась чистой видимостью. Я вынес ее без всякого труда.

Рядом с комнатой нашелся недействующий туалет, я поставил Ленина туда и накрыл сверху газетами. Тут же выяснилось, что поступок мой оказался идеологически неверным. Первым мое внимание на это обратил сотрудник хозчасти.

– Вы долго думали? – спросил он меня, показывая на Ленина в туалете.

Думал я действительно недолго – на это у меня просто не было времени. Вынос Ленина был произведен в половине шестого, за полчаса до ожидаемого прихода гостей. Тучи начали сгущаться с невероятной скоростью. Администрация общежития, собравшись на экстренный совет, признала мой поступок аморальным. Тщетно я доказывал, что туалет недействующий и не содержит экскрементов, что, останься вождь в комнате, кто-нибудь из гостей мог бы его повредить в состоянии аффекта, – высокое собрание считало, что празднование свадьбы нужно отменить. Валентин Иванович почему-то отсутствовал, иначе, не сомневаюсь, мы бы решили вопрос на коммерческой основе.

Наши препирательства длились до 17 часов 58 ми нут. В 17:59 к общежитию подъехала черная «Волга», из которой вышел Д.С.Лихачев. Встречая его с думой о Ленине, я не ожидал, что появление моего начальника окажет на всех столь благотворное влияние. Администрация очевидным образом испытывала шок. Оставив распри, мы радостно приветствовали знаменитого академика. О наших идеологических разногласиях он так ничего и не узнал.

– Приглашали к шести, я не ошибся? – спросил меня Дмитрий Сергеевич.

– Приглашали к шести, – подтвердил я.

Все остальные пришли в семь.

Дмитрия Сергеевича попросили быть посаженным отцом, и они с женой Зинаидой Александровной сидели рядом с нами. Их удивительная, к тому времени почти шестидесятилетняя, семейная жизнь словно бы задавала тональность нашей семейной жизни. Мне кажется, что в нашей любви, которая, благодарение Богу, длится не один десяток лет, весьма роль и этого благословения.

Лихачевы просидели за столом пять часов, заметив, что поставили рекорд длительности пребывания в гостях. Нашлись, однако, те, кто отважился побить и этот рекорд. В два часа ночи некоторые из наших гостей позвонили домашним, сообщив, что опоздали выехать до разводки мостов и вынуждены остаться ночевать у нас. Празднование продолжалось весь следующий день. Часов около двух ночи их родные были вновь оповещены об объективной невозможности вернуться домой. На вопрос домашних, что же им помешало вернуться на этот раз, наши гости со всей прямоотой вновь указали на разведенные мосты. В те бурные дни я понял, что в Петербурге является уважительной причиной. Причиной, против которой не возражишь.

На следующее утро я увидел за столом милиционера. Несмотря на форму, пришел он, как выяснилось, не по службе. Милиционер сосредоточенно доедал салаты и запивал их коньяком. Закончив с тем, что оставалось на столе, он поздравил нас с бракосочетанием и спросил, есть ли еще алкоголь. Алкоголя, к моему удивлению, больше не оказалось. Милиционер покачал головой, взял большой фужер и слил в него то, что оставалось на дне всех стоявших на столе емкостей – включая бокалы. Он назвал это милицейским коктейлем и, подмигнув нам, выпил одним глотком. Больше мы его не видели.

За праздником пошли будни. Освоившись в Пушкинском Доме, я осознал, что в нем трудится не только Дмитрий Сергеевич, но и многие другие люди – очень разные. Трудился, например, Николай Андреевич, специалист по гражданской обороне, не скрывавший того, что сотрудничает и с некоторыми другими ведомствами. Николай Андреевич был невысок, сед (волосы аккуратно зачесаны назад) и, как я сейчас вспоминаю, довольно-таки стар. Никогда не смеявшийся, он нередко улыбался краями губ, как бы давая понять, что слова собеседника им принимаются не вполне всерьез и, возможно, будут еще проверены. Время от времени Николай Андреевич собирал пушкинодомцев и рассказывал, как им надлежит вести себя в *экстермальной* ситуации. Иногда дублировал свои сообщения в письменном виде, вывешивая их на доске объявлений под заголовком «Внимание всем».

Однажды в Пушкинский Дом пришел сумасшедший. В Пушкинский Дом время от времени приходят сумасшедшие, и ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Обычно это спокойные люди – авторы оригинальных концепций и статей. Как-то раз в Отделе древнерусской литературы появился даже потомок князя Игоря – тоже вполне спокойный человек. Особенность сумасшедшего, пришедшего в тот день, как раз в том и состояла, что он был неспокоен. И хотел видеть Лихачева.

Дмитрий Сергеевич, который не отказывал в беседе никому, в тот момент принимал очередного посетителя. Когда пришедший выразил твердое намерение ждать, сотрудницы нашего отдела позвали меня. Допускать его до восьмидесятипятилетнего академика им казалось небезопасным, и они попросили меня как-то справиться с посетителем. Я попытался с ним заговорить, но он ответил, что говорить будет только с Лихачевым. В свои тогдашние двадцать пять я был крепким парнем и в случае необходимости скрутил бы этого больного человека без труда. Проблема состояла в том, что я не понимал, есть ли такая необходимость. Не испытывая любви к полицейским методам, я не решался применить силу лишь на том основании, что мне не хотят отвечать. Пауза затягивалась.

В этот момент вошел Николай Андреевич, которому уже доложили о сложившейся обстановке. Он пересек комнату маршевым шагом и, приблизившись к нарушителю спокойствия, произнес всего два слова: «Ваши документы». Пришедший в буквальном смысле затрясся. «Следуйте за мной», – не меняя своей лаконичной манеры, скомандовал Николай Андреевич. Будучи выше Николая Андреевича на голову и вдвое его моложе, посетитель покорно затрусил за ним. Мой внутренний либерализм не помешает мне быть откровенным: это было эффектно.

Помню одухотворенное лицо Николая Андреевича 19 августа 1991 года. Вероятно, ситуация в этот день ему и в самом деле виделась *экстермальной*. Он вальяжно ходил по коридорам и предлагал сохранять спокойствие, разъясняя, что невиновных не тронут. От его успокоительных слов становилось и в самом деле не по себе. Пройдя мимо Николая Андреевича, я поднялся в Отдел древнерусской литературы. Я стремился туда, как стремятся к острову во время шторма. Собственно, этим словом Лихачев наш Отдел и называл. Спасая от ареста нашего коллегу, имевшего неосторожность переписываться с Солженицыным, он сказал ему: «Вы не понимаете, что живете на острове».

Войдя в отдел, я вначале подумал, что он пуст. Но это было не так. В дальней комнате сидел Лихачев. Почему-то он напомнил мне полковника Турбина, ожидавшего своих в пустой гимназии. Поздоровавшись, Лихачев произнес: «Какие мерзавцы!» Я согласился. Дмитрий Сергеевич рассказал мне, что его внучка Вера с семьей накануне отправились поездом в Германию. Он гадал, успели они пересечь границу или нет.

Вернувшись домой, я бессмысленно следил из окна за машинами. Дома я был один: Таня с годовалой дочкой Наташей гостила у родителей в Караганде. Покрутив без надежды колесико радиоприемника (звучал только Чайковский), я внезапно поймал волну «Открытого города». Радио призывало всех мужчин города двигаться в сторону Исаакиевской площади на защиту Ленсовета. Услышав про всех мужчин города, я подумал, что так могли бы призывать древних

новгородцев, римлян, афинян. Свистел в этих словах ветер истории, который в тот вечер увлек и меня. Мне хотелось позвонить Тане в Караганду, но я не позвонил. Из-за разницы во времени там было уже поздно, а главное – я боялся, что она будет просить меня остаться дома. Не успев поужинать, я положил в карман горбушку черного хлеба, взял зонтик и вышел на улицу.

Было поздно, автобусы не ходили, и я стал ловить машину. Первым остановился «фольксваген», в котором сидели насмерть перепуганные финны. Ехать на Исаакиевскую площадь они не собирались, как раз наоборот: с несвойственным им темпераментом выясняли дорогу на Хельсинки. Второй машиной оказалось такси, которое и отвезло меня на Исаакиевскую, точнее, на впадающую в нее Большую Морскую, где мы уперлись в первую из баррикад. Брать с меня деньги таксист отказался. По его словам, всех, кто в эту ночь ехал к Исаакию, питерское такси возило бесплатно. Я вышел из машины и направился в сторону площади.

Подготовка там кипела вовсю. На подступах к площади из обломков мебели, батарей и проволоки возводились баррикады, рядом с ними поперек дороги устанавливались автобусы, а недалеко от памятника Николаю I разливался по бутылкам бензин. Приготовлением «коктейля Молотова» занималась пополнившая ряды сопротивления милиция. На стене Мариинского дворца работал громкоговоритель. Он рассказывал о том, как по Москве уже идут танки и как одного из горожан уже намотало на гусеницы. В заключение сообщалось, что на Питер двигается псковская танковая дивизия. Страшно почему-то не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.